

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

2001

4



2001

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР КУЛЛЭ — Послесловие к первой любви, стихи	7
ДМИТРИЙ БЫКОВ — Оправдание, роман. Окончание	12
ВЛАДИМИР САЛИМОН — Долгожданный покой, стихи	67
ЮРИЙ БУЙДА — Степа Марат, рассказ	70
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — До синих гор, стихи	75
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть третья (1982 — 1987)	80

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Священник АЛЕКСЕЙ ГОСТЕВ — Церковный взгляд на общественное оздоровление. К принятию «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»	142
---	-----

ПОЛЕМИКА

Священник ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ — Новое исследование по старым рецептам	156
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — Русский читатель над японским романом	165
МИХАИЛ ГОРЕЛИК — Проекция Борхеса	183

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Виктор Мясников. Два полуострова — остров	188
Валерий Сендеров. Уход преподобного Симеона	191
Мария Ремизова. Не напрасно	194
Сергей Ларин. Ценою жизни	197
Филипп Дзядко. Филологические раскопки	201

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	204
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	212

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- М. Д. ДАНИЛОВА — Несколько штрихов к октябрьским дням 1917 года
в Ярославской губернии 220

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

- Книги (составитель Сергей Костырко) 223
Периодика (составитель Андрей Василевский) 226
SUMMARY 240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АНАТОЛИЯ КИМА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ КАЗАХСКОГО ПЕН-КЛУБА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
НИКОЛАЯ КОНОНОВА,
ВЕРУ ПАВЛОВУ,
АЛАНА ЧЕРЧЕСОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ
ИМЕНИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ
АКАДЕМИЕЙ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
И РОСБАНКОМ!**

Уважаемые работники библиотек!
Многие наши постоянные читатели не могут себе позволить
выписывать журнал «Новый мир» на дом, а у редакции
нет возможности рассылать журнал на бесплатной, благотворительной
основе. Поэтому просим вас заблаговременно оформить подписку
на журнал «Новый мир» на вторую половину этого года.
Наш индекс 70636 в «зеленом» Объединенном каталоге
«Подписка-2001».

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(1982 — 1987)

Глава 11

ИСПЫТАНИЕ ПОШЛОСТЬЮ

Были в моей жизни испытания — нищетой, травлей в детском возрасте, войной, тюрьмой, смертельной болезнью, потаённой жизнью, славой, травлей всесоюзной, бездомностью, изгнанием с родины — кажется, немалый ряд? Но ещё в этом ряду сперва не хватало пошлости. Постепенно — напозла, напозла и она.

Пошлость — любимое оружие низости, когда ей недоступно прямое насилие. Да и — вдобавок к нему. На многих, осуждённых советской властью, подмешивали ещё и зловония, и первый мастак был Ленин — как нагадить, «исшельмовать» (его слово) противника. Нет, раньше него — Маркс. Да и вообще в политике; и сколькими пошлостями громяют современные избирательные кампании.

Так и меня, в начале 70-х годов в СССР, не решаясь арестовать, обмазывали в поддельно-иностранных статьях и на закрытых сборищах лекторы — чем же, как не пошлостью? Ведь спорить на высоком уровне им нечем. А когда пришлось выпустить меня из лап, то и вдогонку опять — чем же другим? — фальшивками, низкими сплетнями, потом направляемыми книгами — моей первой мстительной жены, Ржезача, Тюрка, затем хвостатого Флегона. А дальше — верен был расчёт ГБ: уже без всякого управления охотно прильются к потоку этой пошлости и новоэмигрантские добровольцы, и западные, со страстями вовсе и не политическими, а, увы, низко человеческими, по своему уровню.

Так именно и случилось: много их нашлось, череда не прерывается и по сей день. А уж выплеснуть в публичность — труда не составит: всегда найдётся пресса распушенная, отбросившая ответственность, все словеса которой что и есть, как не — пошлость, пошлость, измельчение, оглупление.

Летом 1978 был в СССР приготовлен (но почему-то не пущен в ход) тираж книги Ржезача*. И в том же самом году в Восточной Германии (но я ещё

© А. Солженицын.

Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, вторая часть — № 9 за 2000 год, начало третьей части — № 12 за 2000 год.

* Теперь, из писем советских читателей узнаю, что и был-таки пущен, умеренно, читали его в разных местах страны и поразились моей гнусности. Например, в Петрограде его не дали в Публичную библиотеку, но снабдили библиотеку дома Политпросвещения, то есть надёжных читателей. (Примеч. 1993.)

семь лет не знал) был выпущен двухтомный роман Гарри Тюрка «Der Gaukler» — *фокусник, площадной шут*. (Почему именно выбрали Восточную Германию? Потому ли, что туда легче проникали сведения обо мне из Германии Западной, даже и телепередачи.)

Эта книга — попури, диковатый конгломерат из сообщений и фантазий Н. Решетовской, моей бывшей жены, из общеизвестного и из полного вымысла, — всё это размыто, события перемешаны подальше от истины, чтобы нельзя было распутать, найти хоть какие-нибудь твёрдые точки. КГБ вовсе убрано, совсем оно не действует в СССР, — зато вся моя жизнь с 1964 и литературная судьба пронизаны направляющей рукой ЦРУ: именно оно решило сделать из новомирского автора международную звезду, внушило мне писать «Архипелаг» и дало план его (хотя трезвые друзья указывали: да довольно же вспоминать прошлое, хватит, надо жить социалистическим будущим!). А когда я послушно стал писать — то агентша ЦРУ в Москве ещё редактирует и меняет мои рукописи, перед тем как отсылать их на Запад. Она же диктует мне, какие надо делать заявления для печати, — и я их охотно делаю. ЦРУ же советует мне произнести речь перед съездом писателей, а если не удастся — то написать письмо съезду вот по таким-таким тезисам. А что придумано не в ЦРУ, «Август», — там «ему не хватает художественных средств».

От автора книжки, и от иных благородных советских людей, и от самих цезрушников сыпятся определения злосчастного писателя: «господин Челюсть... постлесталинский Остап Бендер... стал фашистом... урод в социалистическом обществе... фашистский лгун... литературный власовец». И только одно несомненное не отрицают: «высокая интенсивность работы», «пчелиное прилежание». Но при всём том — утопает в сексе (как, впрочем, и вся книга утопает, и все агенты ЦРУ — тоже в нём). От Н. Решетовской и К. Симоняна благодарно взято: честолюбив с детства, шрам от антисемитизма, а отец, не воевавший за белых и «гуманно прощённый советской властью» (за что тогда прощённый?), — всё же пошёл в лес и застрелился. — Сын же, после повести в «Новом мире», «окружает себя людьми, сидевшими за дело», и они ему врут «якобы факты», а он — всё записывает. — И герой всё время рвётся уехать на Запад к деньгам, просит устроить ему какой-нибудь вызов. (А что за Нобелевской премией не поехал — об этом начисто смолчано.) — К тому со злобчивой страстью приплетена и бедняжка Аля: острее всего понимавшая потерю родины как несчастье — тут изображена как интересантка, только и рвущаяся к свободным западным деньгам, «её место в Латинском квартале», и всякая к тому пакость, допекла ж она им.

Напротив, Н. Решетовская, «загубившая свой талант пианистки» только потому, что всю жизнь от юности якобы «помогала мужу работать, искала ему материалы», — теперь, покинутая, сидит в провинции и самоотверженно перепечатывает и перепечатывает доверенную ей и никак не охраняемую автором рукопись «Архипелага», а, сдав ему работу, пытается покончить с собой. Само же ГБ во всю историю, за все годы, не вмешивается ни разу. Рукопись «Архипелага» — никоим образом оно не ищет, а на случайной квартире случайный милиционер открывает незапертый чемодан; несчастливая хранительница тут же кончает с собой, но ЦРУ успевает задержать и подменить все мировые сообщения наглой ложью: будто её вызвали в КГБ и мучили там.

Тысячестраничный — и тоже двухтомник — Флегона, хотя написан как будто иначе, в другой год, и в западной стране, без романной маскировки и с прямой личной ненавистью, а сходится во всём главном: бездействующее, совсем невинное КГБ (самые бережные выражения о нём, и даже с нескрытой симпатией), резкие нападки на ЦРУ, клопочущее злобство ко мне — и море порнографии.

Как раз сейчас, в феврале 1987, — сколько ни откладывался, а подкатил суд с Флегоном. И теперь, хоть и с 6-летним опозданием, а неизбежно мне эту мерзкую книгу, прежде только листанную брезгливо, впервые прочесть. В самые дни суда и читал.

И верно я сделал, что не читал её 6 лет назад: всё это отходит по времени и в нём ничтожнеет. За последние годы я потишел — во внутреннем успокоении, от исполненности главных работ, какая-то не битвенная становится кровь, плечи приборолись, — и не зацепляет меня эта стряпня. (А только — наглость его судебного иска.)

Тон книги — такой вульгарной развязности, как если бы трактирный лакей уселся главным гостем.

И что же мы узнаём? Что «Архипелаг» написан с «целью личной мести» (советскому правительству); что это сплетение тюремных басен; но, увы, «в идеологической борьбе против коммунизма „ГУЛag” представляет собой хорошее оружие», хотя по сравнению с тем, что делалось в старой России, «исчез бы весь ГУЛag с его муравьиными пытками». И вообще в Советском Союзе плох был только Сталин — да и то: «Сам русский народ почти заставлял Сталина истреблять людей». Над «Телёнком» много раз возмущается, как я обманывал родные советские инстанции. И не удерживается заступиться открыто за кагебистов — несколько раз в защиту Ржезача, а особенно за Луи. И болит у него сердце за неуспех в СССР книги коммуниста Дьякова (это — несколько раз), — а вот как надо писать о лагерях!

Из лучших способов защиты советской власти — громить старую Россию. Ещё 6 лет назад из перелистывания флегонской грязи, по одним иллюстрациям было видно, сколько тут злости против старой России. А в тексте этого ещё больше. Упорно: методы КГБ изобретены при Екатерине. «Русские цари умели наказывать виновных и невиновных куда лучше КГБ». — Отказываться от арестованных и пострадавших — «это национальная черта русского народа [неискреннего и трусливого], которая явно проявлялась на протяжении всей русской истории». — «Коммунизм на русской земле — следствие национальных черт русского народа». — «Россия отличается от всех стран Европы тем, что там врут не отдельные лица, а вся страна поголовно. Честные люди там исключение».

Ну, а с какой захлёбной сосредоточенной злостью обо мне — этому уж нет границ. — Нахальный лгун. Патентованный невежда. Умалишённый самодур. Пройдоха. Переметчик. Клеветник. Брехун и лицемер. Сталин наших дней. Помесь гиены с хамелеоном. Негодяй. Вральман. Слабо развитая мозговая корка. Самый известный матерщинник XX века. После его высылки «русские люди вздохнули с облегчением». Впрочем, «борьба против коммунизма в действительности его никогда не интересовала». «Посвятил целые годы жизни мести за неполученную Ленинскую премию». (Это — их всех навязчивая идея, много раз об этом. И — у Тюрка.) «Получает деньги от разведок... получает деньги от ЦРУ». И, конечно, «готовый жертвовать детьми за книжонку» (за выход «Архипелага»).

Вот — выписываю, и всё это так для меня примелькалось, не задевает ни на миллиметр. Враги ли советские, или третьеемигрантские, или нью-йоркская образованщина, — все они лепят на меня одно и то же почти, слово в слово, и до бескрайности.

Не скромничает Флегон высказываться и собственно о литературе: Солженицын «не продержится в литературе долго». Сартаков как писатель куда лучше Солженицына. «„Телёнок” — литературное дерьмо». Раз из «Круга» можно было выбросить 9 глав — значит «там много лишнего». — Да что там — и о языке моём уверенно судит: «корявый»; «„в круге первом” — это не по-русски». (Ну да, он же назвал своё пиратское издание — как надо по-русски: «В первом кругу».)

И не брезгает Флегон никакими подделками. («Под подписью Флегона не было напечатано никогда ни одной лжи».) Где у меня неприличное слово в многоточии — он вытягивает его полностью и печатает как цитату из меня — стесняться ли ему? Знаменитое ленинское «не мозг нации, а говно» — прямо приписывает мне. Совершенно серьёзно цитирует Фан Фаныча (юмористическая глава «Зэки как нация») — как меня. «За голенищем нож» (подтасовка по рецепту Лакшина, все они сходятся, друг другу помогают). И, разумеется, не только умалчивает, что гонорары «Архипелага» я целиком отдал в Фонд помощи заключённым, но прямо

переворачивает: «Я обвиняю его в том, что он не поделился своим миллионным гонораром со своими несчастными соавторами, бывшими зэками».

Но и вся его слюнобрызгая брань, и все эти жульнические подделки, и нужные умолчания — разве так уж отличают Флегона от вереницы пошляков, уже просмотренных в этих очерках? Хотя иные из тех копьеметателей брезговали бы таким сравнением. Флегон отличается от них только и единственно своею патологической, безудержной страстью к порнографии, чем сбросил книгу свою ниже допустимого уровня, и она не пошла. (Однако на фоне нынешней новоэмигрантской литературы даже его порно-дрожь не так уж слишком и выделяется.)

О самом Флегоне ещё узнаём: «Русской литературе я посвятил всю жизнь». И: будто многие его подозревали, что это он сам пишет солженицынские книги. (Раз пятнадцать упоминается Окуджава, и всегда сочувственно, — тем больше веры показанию Окуджавы, что Флегон открылся ему как агент ГБ.)

И еврейскую мелодию нащупывает Флегон точно в духе гебизма: «нельзя принимать за чистую монету, что он — не Солженищкер»; «склонен думать, что он не русский».

Нет, наказан я, что не прочёл Флегона вовремя. Пишет: «Продолжать дело с ответчиком (Д. Поспеловским), уехавшим в Канаду, было бесполезно». Так тем более — в Штатах! Жестоко ж я ошибся, что согласился защищаться от иска Флегона. Как всегда, погоняемый своей работой, я не успевал вникнуть в обстоятельства дела. (Так думают и два спрошенных английских адвоката: Мастер британского суда просто ошибся, дав Флегону санкцию на предъявление иска в Америке, — а мы лопухом приняли, откуда нам знать законы?)

А мой суд с Флегоном в Англии всё откладывался, всё откладывался — больше пяти лет, и я был тем доволен: мне б только отодвинуть эту заботу на ближайшие полгода-год, не мешала бы моей безотдышной работе. И не задумывался, как же направит Э. Вильямс из Америки дремлющего Сайкса, а и вовсе не знал, что по требованию истца назначен именно суд присяжных (как и остерегал меня Ленчевский).

И вот сейчас, в конце февраля 87-го, узнаём: суд (судья Джен Кеннеди) идёт уже три дня, — и три полных дня перед 12-ю присяжными держит речь Флегон (Ленчевский описывает: пришёл в обтрёпанной одежде, для трогательности вынул челюсть, беззуб; а присяжные набраны по жребию — шут знает кто, едва ль не те бродяги, кто под мостами ночуют) и рассказывает о своей незащитной жизни от бессарабского детства (по его книге, впрочем, сомнительно, что он присоединён с Бессарабией, он как будто отлично знает советскую жизнь 30-х годов, Одессу), и зачитывает письма своей покойной мамыши, и (незаурядный артист!), обнищавший, измученный, со слезами в голосе, жалуется, как ему всю жизнь перековеркал этот жестокий богач Солженицын. Успех был — сразу обеспечен, демократическое чувство присяжных — на стороне загнанного истца. И уже ясен стал мой проигрыш, но всё заседание суда — о той полужае в нескольких экземплярах *русского* «Телёнка», изданного в Париже 12 лет назад, — заняло девять полных дней! — вот она, бессмертная английская Фемида. Вот сутяга (правда сгущённый донельзя тип ядовитого сутяжника, который так удавался Диккенсу) победоносно действует в английских королевских судах уже четверть века — и никто не может его остановить. А против КГБ английский суд и вовсе беспомощен.

И эти несведущие присяжные рассудили в своих безопасных креслах, что 15 лет назад в СССР, изнемогая в неравном бою с КГБ, я должен был аккуртнее выразиться о пирате, который в те самые годы испакощивал мои книги на Западе, — и присудили мне наивысший из возможных в данном случае штрафов — 10 тысяч фунтов. А со всеми судебными издержками и бесплодными адвокатами это будет и втрое. (Да если бы Флегон и проиграл — то кто будет платить? он же всегда банкрот.)

Вот ведь наука: не только самому никогда не подавать в суд — но даже и защиты ответчика не вести, всё равно огадят. Я был оскорблён этим кривосудством английского суда. Неправый суд разбоя злее, верно. Сколько обо мне писали и пишут гадостей — никогда меня то не уязвляло. Но этим случаем — разбередился. Унизительно, что получаю личное поражение от лица ничтожно-пошлого, да ещё безудержно меня же и оплевавшего. Я — немало терпел поражений, но и всегда, и в Америке, — действуя против анонимной огромной силы, — там и поражения не обидны. А тут — на ничтожном месте. По каким скалам лазил, а поскользнулся — на мрази, на мокрице. Конечно, можно считать, что и сейчас — это плата за срыв в прежней борьбе против КГБ.

Затягал-таки меня Флегон. Ну что ж, оказался ловчей — получай свой выигрыш. Да ещё же! — я своим проигрышем укрепил его положение и в предстоящем суде с Ленчевским!

Мой проигрыш может ободрить и других подавать на меня в суд, по английской давности никогда не поздно: Файфер? Жорес Медведев? Да удивляться надо: а «Штерн» почему на меня не подал? Ланген-Мюллер? Измотался бы я.

Во всяком положении легко утешиться, что «это ещё хорошо», могло быть — хуже, хуже.

...А Ленчевский — суд против Флегона выиграл! Через все нервы («львиная доля всей энергии и времени»), и со скудными средствами, хотя и подкреплёнными мною, выдержал многолетний марафон!

После того как летом 1983 Флегон сумел отсрочить их суд на неопределённое время, Ленчевский составлял «заявление для прессы» о Флегоне и рассылал во многие места (никто не напечатал, даже эмигранты). Писал мне: «Дело с этой стервятной птичкой немисливо не довести до логического завершения. Ресурсы флегоновских хозяев — неисчерпаемы. Борьба идёт не столько с прохвостом лично, сколько с ними. Я это понял отначала — и это-то меня воодушевляет». Да и верно, конечно.

И правда, Флегон тем временем совершал удивительные манёвры. Он как-то сумел не только возобновить действие своего упразднённого судом иска и тут же избежать новоназначенного жёсткого срока слушания в январе 1984 — но в феврале добился радикального исправления своего иска: не удалось включить туда меня, но включил в обвинение письмо Ленчевского в «Гардиан» — не дать защищать! бить по рукам! — «слова Ленчевского в их непосредственном или выводимом смысле означают, что Флегон — автор порнографического, позорного и клеветнического материала и некомпетентен в своей профессии как писатель» (а для англосаксов профессиональная некомпетентность — самое возмутительное обвинение). И уже Ленчевскому («феноменальная сатанинская изворотливость гада!») приходилось оправдываться, что он не самого Флегона как личность обвинял в этом, а лишь его книгу. Обойдя, при моём содействии, нескольких адвокатов, он убедился: «Окаянная гильдия, только выдавать деньги из клиента побольше. Наилучший адвокат для меня — по-прежнему я сам, в тройственной функции ответчика, солиситора и барристера». И летом 1984 подавал уже пятнадцатый по счёту affidavit (показание под присягой), прося аннулировать исправленный флегонов иск, судить же по исконному, и скорее! А флегонский адвокат настоял на новой отсрочке. И Мастер Топли — отложил. «Как-то особенно резко и больно, что передо мной — абсолютно бездушный чиновник самого наихудшего пошиба, судейский робот, и знать не желает ни о каком Гулаге, а виновная сторона перед ним — скорее я. Не читает никаких affidavits, не вникает в существо дела. Но, несмотря на все перипетии тяжбы, уверенности в конечной победе у меня и посегодняя не убавилось. А тревожат признаки нервного переутомления». Однако судебное колесо затягивало его опять. Послал он прошение на имя генерального прокурора Великобритании: вот злостный сутяжник с бесчисленными судами, есть же о том английский закон. Ответ прокурора: да, Флегон часто подавал в суд, но не доказано, чтобы без основания, а в некоторых случаях и выигрывал.

В дни, когда решалась судьба исков, Флегон даже изымал свою книгу из магазинной продажи. Миновала опасность — вёз самолично торговать ею на славист-

ской конференции в Нью-Йорке. Суд перенесли на конец 1985. А пока Флегон «явно готовит „смягчённый” английский вариант книги. Покуда эта ядовитая мерзость распоздается по свету — не видеть мне душевного покоя». И так радуется Ленчевский каждому моему позыву — как и мне бы начать действовать активно, — а я лишь приступлю искать нового адвоката, и вскоре отваливаюсь. Наоборот, пишу ему: «Не надо Вам задориться, годы жизни и силы дороже. Книга Флегона должна скончаться от литературной немощи, естественной смертью, а не от судебного приговора, что придало бы ей легендарный венюк». Нет, отвечает он, это надо «Вам — стряхнуть сутяжную паутину, которою он Вас опутал, взять Вашу защиту в свои собственные руки». Я ему, в 1985: «Если бы Флегон был моей единственной неприятностью. Но я обложен газетной травлей и если бы вздумал на всё отвечать — это бы съело все мои силы. На этом фоне обвинение, что я оклеветал Флегона 13 лет назад, — плюнуть и растереть. Только затхлый английский суд может кормиться такой тухлятиной. Кроме „Красного Колеса” всё земное для меня уже на каком-то десятом плане».

Флегон слал Ленчевскому письма с угрозами, отбить его от стояния. Тщетно. В который раз переложённый, их суд был назначен в июле 1986 и таким образом должен был состояться позже нашего суда; Ленчевский подсказывал Сайксу, что Флегон маневрирует, чтобы мой более лёгкий суд пришёлся ему первым; подсказывал поводы для оттяжки, но Сайксу не удалось. На назначенный суд каждый раз Ленчевский приводит своих доброхотов-свидетелей, и вот опять зря: Флегон, тряся гранками своей английской книги, добился новой отсрочки — «по крайней мере до ноября». (А нервы?) Бесплодно возражал Ленчевский, что уже прошло 5 лет разбирательства, что всё равно речь идёт о *русском* варианте книги, а не об английском, наконец уже сколько раз пренебрегали папками его собственных переводов — почему же надо ждать перевода Флегона? — Нет, Мастер велел ждать.

Но ещё и в ноябре 1986 их суд был бы раньше нашего февральского 1987, однако Ленчевский угадал верно: пока Сайкс дремал, Флегон перенёс суд с Ленчевским позадь нашего, на июнь 1987, и тем временем выиграл суд против меня. А их пятидневный суд — Ленчевский выиграл-таки!

Поддельное английское издание флегонской книги уже было готово, вот, представлено, но это Флегону не помогло. Судья Филлипс прочёл книгу, как заявил, от корки до корки. (Есть же в Англии и такие добросовестные судьи!) Значительная часть похабного русского текста не вошла туда, но Ленчевский представил переводы важных опущенных Флегоном мест — и Флегон не мог опровергнуть. То же и с иллюстрациями. Отклонил судья и тот пересмотренный, добавочный иск Флегона. Привёл Ленчевский на суд 22 свидетеля! — ведь многие и не в Лондоне, не поленились приехать, да уже не первый раз, — Майкл Никольсон, Гарри Виллетс, Мартин Дьюхерст, Дмитрий Поспеловский, Александр Ливен, Екатерина Андреева, Геннадий Покрас и опять же Леонид Финкельштейн, — какие ж ещё запасы душевности у людей в этом затрёпанном, закруженном мире!

Заключение судьи (присяжных, к счастью, не было). Да, книга Флегона есть клевета на Солженицына, она порочит и честность его как писателя, и его литературное умение, и его личную нравственность. Книга есть гамма от вульгарной брани до безобразия. Техникой коллажа вставляет лицо Солженицына в оскорбительные и непристойные позиции. «В общем, я затрудняюсь представить себе более обширные и оскорбительные нападки на человеческий характер и поведение. Серия грубых клевет». Кроме того, книга атакует в общем виде характер русского народа в целом. Не приводит никаких доказательств для подтверждения своих оскорбительных обвинений. Флегон приписывает Солженицыну слова его персонажей («расстрелял бы малолеток») или полностью искажает их смысл (что: «готовился пожертвовать жизнью сыновей, чтобы только увидеть свою книгу на магазинных прилавках»). Судья находит неудовлетворительными также и объяснения Флегона, почему он заляпал свою книгу непристойностями (якобы: «впервые напечатать эротические сочинения великих русских писателей, что имеет интерес для изучающих

русскую литературу»), — нет, причина была: через непристойности привлечь чёрный книжный рынок. Судья признаёт определение Ленчевского «псевдолитературное уродство» — как «честный комментарий для этой противнейшей на вкус книги».

Вот — и таковым способен быть английский суд. Всякий он бывает.

Такие книги, как Флегона или Тюрка, не могли меня задеть — по своему нижайшему уровню. А том Скэммела — пришёлся болезненно, ибо пошлость — причёсанная под объективную как бы даже науку.

О Скэммеле в первый раз я услышал ещё в Москве от Копелева, потом от Вероники Штейн: что вот ещё один настойчиво хочет писать мою биографию. Далась она им, хватало с меня Файфера-Бурга, я только отмахнулся. (Но почему-то, за глаза, представился мне Скэммел каким-то внушительным господином — и я в одном публичном заявлении, касаясь обыска его в московской таможене, особо назвал его «почтенным».) С тех пор не слышал я о нём долго.

А тем временем на Западе Бетта ли нашла Скэммела, или он сам тянулся через Хееба, — но к моей высылке он был уже их доверенным лицом: это ему поручили проверять и исправлять американский перевод 1-го тома «Архипелага» Томаса Уитни. (Переводческая репутация Скэммела высилась на том, что он перевёл на английский «Дар» Набокова.) Однако, узнал я ещё в Москве из письма Бетты (от 5.1.74): «Майкл Скэммел много болтает». Ещё раньше того, в ноябре, едва взявшись, уже он сообщил Копелеву в Москву, что «занят важной для А. И. работой», — зачем? дурной знак. И в начале же января 1974 сам слышу по Би-би-си его интервью об «Архипелаге». (Да и тоже, наверно, назвался сам: откуда бы знало Би-би-си, что он в «нашей команде»?) Вопрос: что в книге сильнее впечатляет — факты или авторский голос? Скэммел: факты. Вопрос: много новых фактов? Ответ: нет, новых фактов нет, это, в общем, известно, но много новых конкретных деталей.

И — что ж он понял в «Архипелаге»? в его душевной динамике? Сидел подробно над переводом — а не разглядел. Вот на этом уровне понимания Скэммел и остался навсегда. И мне бы сделать вывод. Да в моей метучей жизни — это стирается, забывается.

В конце того января, ещё до высылки, Бетта успела мне ответить в Москву: «Да, он меня тоже многим огорчил. Это западная черта — всё стараться использовать и на свою репутацию. На Западе для интеллектуала, особенно пишущего, главное: чем-то стать, прослыть, иметь репутацию. И приобретают славу в большой мере не знающие, а кричащие. Но: мало того, что Скэммел хороший переводчик, он, на этом настаиваю, — и неплохой парень. Предан Вам и делу. Видела начало его биографии: это — серьёзно, с желанием охватить глубже. Короче: не будьте столь требовательны и нетерпимы. Несомненно на Западе есть и другие люди, но кто сидит молчаливо и скромно — как найти, когда мы сами вынуждены работать тайно?»

И такие знаки — тоже забываются. (В прошлом году перечитывал тайные письма Бетты — и прочёл как совсем новое, первый раз.)

И действительно, нельзя же быть таким требовательным к случайным и доброжелательным помощникам?

По поручению Хееба Скэммел руководил переводом «Письма вождям» на английский (не сам переводил), потом устраивал (через промежуточного литературного агента) печатанье в «Санди таймс» и в «Нью-Йорк таймс» — но в Штатах оно не состоялось. В первом же письме ко мне на Западе — подробно объяснял неудачу, и с таким переливающим, затопляющим дружелюбием. А

«для дальнейшей работы над „ГУЛагом” — имею ли я Ваше доверие, или нет?» И отчего бы — нет? И по первой же моей просьбе Скэммел нашёл жадно желанного переводчика «Крохоток»: Гарри Виллетса в Оксфорде (того, кто, по Хеебу, уехал в Австралию и провалился). И настойчиво предлагал приехать ко мне в Цюрих. И его же я спрашивал, и он охотно меня консультировал, об английских и американских издательствах (это было ещё до появления Дюрана, я пытался хоть как-то разобраться). — С осени 74-го года взялся Скэммел и руководить переводами на английский статей сборника «Из-под глыб», чему я тогда придавал первейшее значение. Тут ожидалось вот-вот появление мемуаров Решетовской уже на английском — Скэммел сам накликался писать рецензии на них в американский журнал, в английский, — и нас о том известил.

И тут мы с Алей допустили глубокую, втягивающую ошибку: Скэммел сам рвётся писать о книге, — да разве можно углядеть со стороны, сколько там лживых деталей или, наоборот, сокрытий? он так доброжелателен, и так просит о встрече, — пусть приедет?

И в сентябре он приехал к нам в Цюрих. Молодой твёрдый англосакс (внешне не очень интеллигентен, — обменялись мы с Алей, — но в западной физиономистике какие мы спецы?). В разговоре, в общении не проявил яркости, но зато кажется несомненно порядочным — и какая к нам готовность, и какая расположенность! Нельзя представить лучшего и бескорыстнейшего друга, читал мои пометки на полях тех подстриганных мемуаров. И всем тем — естественно утверждалось его право и писать биографию, теперь уж никак не отказать. (Через десять лет сам признаётся, напечатает в интервью: «Я был чрезвычайно доволен своей хитростью».)

Затем, для его переговоров о биографии с издательством: «*Умоляю* Вас написать хоть самую коротенькую записку как можно скорей. Это может быть Ваше согласие пока *в принципе* — или условно. Или, если хотите, я напишу Вам резюме своих взглядов на проект биографии, как я подхожу к тематике и как продвигу наше сотрудничество... важно узнать Ваше мнение о проекте, и могу ли я приступить к действию». («Сотрудничество» в мою жизнь не помещалось — и резюме я упустил, очень зря. А разрешение ему написал — и он использовал его для заключения договора с издательством.)

Уезжая, оставил мне читать свои начальные главы. И тут же в письме спрашивал: ну как? Только мне и осталось заботы. Сел я нехотя. Прочёл — удручился.

И вот что написал ему о впечатлении (1.10.74): Надо признать Вашу дружественность и добросовестность, но «по темам, которые Вы тут охватываете... Вы добыли и осветили хорошо если 10% материала, а чаще — меньше. И надо удивляться, как Вы могли иногда разглядеть такое труднодоступное, например, что я не менялся в зависимости от внешних обстоятельств. Однако в большинстве случаев, по жестокой нехватке материала [я думал, что лишь поэтому!], Вы не угадываете — интересов, движущих стимулов, направлений усилий. Минутами я закрывал глаза и воображал, что вот это я слышу о себе уже лёжа в гробу, что там, на Земле, написали, а уже не могу возразить или исправить — и, знаете, жутковато: как будто чьё-то лицо в водной ряби, но вроде — не моё. Да может, так и много биографий на Земле написано... Советую: не слишком спешить с Вашим замыслом... сегодня Вы ещё слишком не готовы». И предлагаю ему — пока заняться переводом «Телёнка».

А он извильчиво ответил так (18.10.74), будто мой отзыв воспринял как одобрение его «метода и подхода». Переводить «Телёнка» он согласен, но лишь как подготовку к биографии, а не взамен её, — а главное, напор и натиск: «Вопрос о том, насколько Вы сможете *одобрить* мой проект биографии и готовы *помочь и содействовать* мне, мы можем, если хотите, отложить пока (хотя для меня было бы успокоительнее узнать Ваше отношение сразу), но я твёрдо намерен написать её, и с тех пор, как мы встретились, мои мысли были только об этом».

Обороняюсь, отбиваюсь, уж хотя бы уклониться от чтения его дальнейших глав: «Как Вы понимаете, я не имею ни права, ни намерения Вас отговаривать, ни препятствовать Вам... Но и дать заверение, что Ваша биография „мною одобрена“, — дело очень щекотливое и может выглядеть недостойно: это сразу примет такой характер, как будто я заказал себе рекламу и способствую ей. Это приведёт и к необходимости многих консультаций, исправления Ваших материалов — всё это и не в моём вкусе и невозможно по времени».

Да «я с удовольствием, — разъяняет Скэммел, — возьмусь перевести Ваши заметки [„Телёнка“], если они не отнимут слишком много времени... Дело в том, что время так назрело для биографии, и интерес к Вам как раз так велик, что было бы жаль пропустить этот момент».

Откровенно написал! — вот и объяснение, вот и вся глубина замысла: «жаль пропустить момент». А я, в круговерти, опять не вник, не очнулся.

К тому же: «я не пишу просто „биографию“... там больше о Вашем творчестве, чем о Вас и о Вашей жизни», это будет — литературно-исторический очерк, и даже шире — взгляд на историю Советского Союза. «Сначала я не намеревался коснуться Вашей биографии, кроме как в самых общих и грубых чертах. Но потом меня издатель убедил, что читающая публика требует какой-нибудь очерк о Вашей жизни... Из книги Бурга и Файфера известно, что пишут легкомысленные и безразличные комментаторы. А Решетовская нам показала, как может писать злонамеренный комментатор, когда у него несравненно больше материала, чем у других... Для меня более интересна литературная *persona* автора, чем его личность. Я никак не собираюсь писать „интимную биографию“ с размышлениями о ваших личных побуждениях или фрейдянских импульсах, о семейных счастьях и раздорах (с единственным исключением, что там, где раздор уже стал достоянием публики — скажем, в случае с Решетовской, — лучше холодно и кратко изложить факты)... Без взаимного доверия и согласия о том, что возможно, что сомнительно и что недопустимо, нельзя приступить к такой работе... „Архипелагом ГУЛагом“ Вы совершенно подорвали первичную тему книги — воссоздать мир лагерей, осветить советскую историю под видом биографии... Но лучшего способа, чем Ваш „ГУЛаг“, не существует и вряд ли будет существовать в будущем... [Теперь] объектив моего аппарата будет отодвинут, так что я рассмотрю Вашу деятельность на фоне русского, а не только советском».

И я — поверил ему. Испросачился. Почему преградить такие искренние намерения? такой необывательский, такой широкий подход? (И вскоре пришедшие им недоумённые, элементарные вопросы по «Телёнку» — не очнули меня тоже.)

И, по не первой уже просьбе Скэммела, написал в Нью-Йорк Веронике (двоюродной сестре Решетовской, но доброму другу моему и Али): отвечай ему, что знаешь, мне — меньше хлопот.

Перевод «Телёнка», однако, всё не начинался. А тем временем ожидалось, что Скэммел будет дорабатывать с Уитни, несмотря на неладу между ними, и перевод 2-го тома «Архипелага». Из-за этого в январе 1975 они съезжались в Цюрих, вместе и с Ноултоном, президентом издательства «Харпер». (Покоробил превосходительный тон Скэммела к старшему, кроткому Уитни.) Само собой, ещё более, я жду от Скэммела помощи в дирижировании групповым переводом «Из-под глыб», всё больше полагаюсь на него.

(Позже Скэммел окончательно отказался от перевода «Телёнка» — написав, что его не устраивает предлагаемая издателем Коллинзом оплата, — да и рвался, рвался он к биографии, «не пропустить момент». А мне — ещё лучше: Виллетс-то переведёт книгу блистательно. О переводе же «Дара» Вера Набокова так отозвалась в письме к нам: когда Скэммел «работал для моего мужа... похвалить его можно было разве из любезности, и то больше за то, что очень старался». И, будучи в Лондоне в феврале 1976, — я снял со Скэммела его обещания по «Телёнку».)

Между тем он стал присылать десятки и десятки вопросов — ответить о моём происхождении, о семье, начертить родословную, — и нельзя ли приехать в Цюрих на несколько дней, задавать вопросы (12.7.76): «Мои исследования будут окончены к октябрю, и я хотел бы поговорить с Вами, прежде чем приступить к писанию». И рвался помогать мне опровергать кагебистскую фальшивку, подsunутую через швейцарского корреспондента*, но обошёлся я без него. — Узнал о нашем переезде в Вермонт — просится тут же приехать в Вермонт.

И вдруг прислал сделанную им в какой-то лондонской библиотеке копию старой карты — и на ней указано, где именно под Саблей был хутор Солженицыных (место папиного смертного ранения). Очень тронуло меня. И опять сбивает эта обманная мысль: если всё равно кто-то будет писать биографию, и вот уже пишет, и вроде бы приличный, дружелюбный человек, — уж тогда лучше пусть его факты будут точны. Но и бесконечные объяснительные папирусы исписывать — тоже сил нет. Пусть уж соберёт все вопросы, приедет — и ответить ему разом. Потратит несколько дней на устные ответы, нежели месяцами переписываться по почте. Несравненная экономия времени.

И мы согласились на приезд его в июне 1977. С твёрдым условием: отвечать будем сейчас на все вопросы, безвозбранно и сколько поместиться, — но на том и конец, больше потом не требуйте. — Да, да, конечно!

Приехал на три дня — пробыл неделю. Расспрашивал меня и Алё вдоволь и поперёк, на магнитофон. И «Дороженьку», ещё никому не известную**, я ему открыл. И он немало оттуда набрал: мои разговоры с дедом, и как дед пошёл умирать в ГПУ, как ГПУ отобрало обручальные кольца моих родителей, мои юношеские встречи с эшелонами зэков, и, достаточно напутав, настроения моей довоенной юности, и настроение, с каким я ехал из Пруссии арестованным. Вчитывался он и в мои ничтожные юношеские наброски о велосипедном путешествии 1937 года по Кавказу, как теперь оказывается, без разрешения моего выписывал и втиснул в биографию целые оттуда абзацы. И при этом не обошёл научным вниманием как значительный признак, что на обложке одного из тех моих скудных блокнотов времён второй пятилетки напечатана была типографски цитата из Сталина, привёл в биографию и её, назвав «motto». Но «motto» — и лозунг, и девиз, и эпитафия, — и неприятели истолковали это как *мой* «эпитафия из Сталина», даже «посвящение Сталину», — так перефутболивают мою юность от копыта к копыту.

Писал Але вослед: «Хочу выразить Вам и А. И. огромное спасибо за ваше щедрое гостеприимство и за бесценную помощь, которую вы мне оказали. Информация, которую я получил, буквально преобразила моё представление и понимание ранней жизни А. И. Пребывание у вас было не только умственно, но и человечески богато».

Однако — «уже видно, увя, что я пропустил некоторые важные моменты, или же недостаточно „допрашивал“. Как мне быть? послать Вам вопросы... или же забыть о них и быть благодарным за то, что уже получил?»

Ладно, я ответил.

Но весной 1978 — снова просится к нам приехать! Нет, я с головой в работе, «не смогу оторваться».

Тогда — ещё вопросы, письменно. Ну, теперь-то — последние? Отвечаю.

Но в конце 1978 он получил под мою биографию стипендию рокфеллеровского фонда, «с декабря стал работать в более быстром темпе», и — новый каскад вопросов. Уж это — сверх всякого уговора. И конца не видно, отчаяние. Пишу (февраль 79): «Предвидимые размеры работы с Вами никак не по-

* См.: Солженицын Александр. Угодило зёрнышко... Часть первая. «Ещё год перекаати». — «Новый мир», 1998, № 11.

** Лагерная стихотворная повесть, сочинённая без бумаги, на память. Я впервые опубликовал её лишь в 1999, вместе с другими ранними работами: Солженицын Александр. Протеревши глаза. М., «Наш дом — L'Age d'Homme», 1999. (Примеч. 2000.)

мешаются в моё время. Я сейчас психологически неспособен отрываться на эту работу. Я даже на текущую самую неотложную переписку совершенно не нахожу времени. Признаём, что я и так уже дал Вам весьма достаточное основание».

Нет! Тут же снова просится приехать «на 3-4 часа с магнитофоном». И той же весной опять: «приехать летом и в один мах расспросить». Отвечаю (июнь 79): «Вы хотите от меня невозможного. Я и так уже снабдил Вашу книгу уникальными сведениями, где-нибудь же надо остановиться. Мне сейчас очень тяжело отрываться мыслями и чувствами».

Впрочем же, в каждый приезд в Нью-Йорк он расспрашивал и расспрашивал Веронику. В Европе встречался с Паниным, Копелевым, Эткингом, Синявским, Ж. Медведевым, Зильбербергом, в Штатах с Ольгой Карлайл, Павлом Литвиновым, — почти всё моими открытыми недоброжелателями. А уж мы хотели — чтобы только оставил он нас в покое.

Осенью 1980 сообщил, что «полный текст будет готов к концу года... и если бы было возможно видеться с Вами и обсудить книгу в один последний раз, это было бы для меня неимоверно полезно». Обсудить? Он же с облегчением принимал, что обсуждать не будем.

Аля ответила ему (январь 1981): «Чтение Вашей рукописи излишне. При взаимной симпатии, между нами есть значительная разница во взглядах. Влиять мы не хотим и не считаем возможным. С чисто фактической точки зрения — мы надеемся, вы окажетесь достаточно тщательны и тактичны».

Он в ответ: а хорошо бы приехать на два дня... «Что касается чтения [вами] книги — я вполне доволен вашим решением и даже облегчён... Высоко оцениваю вашу тактичность... Какие могут быть разные трактовки об общественной роли А. И.? А что касается литературной, тут ещё меньше места для разногласий».

И — замолчал на три года, тишина. В 1981 биография не вышла. В 1982 тоже не вышла. И в 1983. Но пришли из Москвы через Н. И. Столярову сведения, что Решетовская находится в переписке со Скэммелом и обильно шлёт ему материалы. Ну, пусть шлёт, у неё большая такая потребность. (Однако интересно: кто ж ту переписку обеспечивает? Самые мрачные годы идут, с начала афганской войны всё ожесточилось, все *левые* ручейки иссохли; корреспондент «Нью-Йорк таймс» Шиплер повёз было в Москву наши срочные письма, однако за 6 месяцев так и не смог передать, вернул всю пачку; но к наташиным-то услугам должны быть каналы АПН. А если поток течёт просто по почте, то редактор «Индекса цензуры» не может же не понимать, что его соработа с Решетовской благословлена властями.) Поначалу не поверила Вероника: ведь Скэммел сколько лет подробно её выпытывал — а теперь ни слова? Она встретила его на конференции славистов, сказала, что — знает о переписке. Он смутился. «А почему ж не скажешь?» (Оказалось: Решетовская поставила условием, что поступление её материалов Скэммел скроет от меня вплоть до самого выхода книги. И он обещал. То есть: согласился никак их не проверять.)

И вот — в августе 1984, после трёхлетнего молчания, — письмо от Скэммела: книга сейчас печатается. «Я предполагаю, что не всё в моей книге Вам понравится. Она же не написана, чтобы понравиться, а чтобы искать и осветить истину... Потомство скажет [размахнулся], но я руководился исключительно своей совестью... Вряд ли Вы напишете мне Ваше мнение. [Чует, чьё мясо...] Хотел бы Вас поблагодарить за то доверие, которое Вы мне оказали, за отсутствие каких-либо давлений или попыток влиять на мой текст».

А через две недели — вот и книга. Название крупно — «Солженицын» и во всю обложку моя фотография, — тот же приём, что у Карлайл. *Тысяча* убористых страниц! Листаю. В книге — фотографии, полуречные от Решетовской. Но что такое? — под каждым третьим снимком неверная подпись: либо имя не то, либо место перепутано, либо не тот год, а то — даже личность не та, или не те указаны обстоятельства. Вот это аккуратность!

Читаю предисловие. Сразу — не верю глазам, бесчестное искажение: будто я считал непременно авторизацию биографии (а не отказывался от этого

от начала до конца)! А он — «не хотел поставить себя под надзор» и сумел склонить меня к компромиссу. И тут же — непорядочная жалоба, что я «сло-мал сотрудничество», сначала пообещал, а потом обещанию изменил, «невоз-можность получить ответы на простейшие вопросы» из-за «солженицынского темперамента!» (Это после его гощения у нас и всего, что я ему открыл! И ни звука об условии: приедете один раз — и хватит, больше не занимаемся, — так кто ж изменил обещанию? И ещё сколько сверх того ему отвечал. Ну да, на-до ж — цену набить, как трудно-трудно было ему добывать материалы, как я сопротивлялся, а вот — он добыл!) Зато — сотни (!) ссылок на Решетовскую: на многостраничные «письма к автору», на «неопубликованные главы», а бо-лее всего — на её надёжную, в соавторстве с АПН, книгу. О «Телёнке» (кото-рый он высосал до предела, не было бы «Телёнка» — на чём бы ему и биогра-фию строить?): что это — «противоречивые и хвастливые мемуары», они «вво-дят в заблуждение, сбивают с ног, в них нет объективного анализа». А сам Солженицын — «спорная фигура» (полностью в их духе, а иначе и писать нельзя), цель же Скэммела эту фигуру «высветить и объяснить».

Как же изменился его тон ко мне от просительного в 1974, когда я был на высоте признания, — и вот в этот теперешний, когда меня пинает всяк кому не лень.

А между тем — построение Скэммела о невыносимых трудностях работы со мной (и тем бóльших заслугах его исследования) тут же подхвачено было широчайше. Самая ранняя рецензия, «Вашингтон пост»: «почти параноидаль-ная подозрительность» Солженицына, «от старта до финиша из него было трудно вытягивать информацию». Дальше — посыпались десятки рецензий, и вряд ли хоть в одной не обсуждались мучения Скэммела со мной...

Острое чувство обогнанности было у меня от появления этой книги, горь-кий урок оклеветания. Если «Телёнку» нельзя верить — значит, я попросту лжец. Это какой же по счёту надменный западный автор врезается судить ме-ня и порочить? — перед читателями неосведомлёнными и которые никогда ничего не смогут проверить.

И что теперь? отвечать? — значит и читать, изучать эту тысячу с лишним страниц о самом себе? бросить «Красное Колесо» в разгаре? — невозможно. Читаю пока только рецензии, да несколько близких друзей (особенно И. А. Иловойская) засели читать подряд, написали подробные впечатления, указали мне самые едкие проплешины пошлости, бестактности, низких толко-ваний. Да, самому прочесть будет неизбежно.

Несколько раз я уже не отвечал — как Зильбербергу, Файферу, Чалидзе, Си-нявскому — и всё это прикипало, прикипало на мне на годы засохшей коркой.

Как, из своего опыта, советовал мне Бёлль: «Изберём путь презрения».

Да, сейчас невозможно отвечать. Ещё и потому, что Скэммел широко, открыто полагается на Решетовскую, несколько сот страниц его книги — это роман, созданный оставленною женою.

Значит и тут — отложить на годы, может Бог пошлёт жизни. Перетер-петь — ещё и это.

Но и оставаться, живому, дробно обогнанным — пакостно.

Да хоть опубликовано-то при моей жизни, спасибо, а после смерти бы — ещё хуже.

Прочесть и записать на будущее.

И что же — книга?

Равномерно, сквозь всю толщу, нигде — душевной и умственной высоты понимания, низменный взгляд на высокие предметы.

Черезо всю книгу тянутся два постоянных усилия биографа. Первое: по возможности, мои поступки, мои движения, чувства, намерения — свести к посредственности, на понятный обывателю лад; расчесть, какие были бы био-графу самому понятны мотивы, — и приписать их мне; изо всех возможных

объяснений — выбирать самое пошлое и низкое, и чем дальше в толщу книги — тем с большим раздражением он меня «одёргивает»; движений и чувств крупных, крайних, накальных — он совсем не понимает, лишён.

Второе: во всяком моём кризисном, поворотном пункте — подозревать мою неискренность, сокрытие истинных мотивов; в трактовке этих моментов быть всегда на стороне моих недоброжелателей — и это, вероятно, не по злости ко мне, но, как он рассчитывает: это лучшим образом и обеспечит ему требуемую «научным стандартом» уравнищенность, «фифти-фифти». Как можно больше недоверия к персонажу, никакого *цельного* характера существовать в природе не может, и если не разорвать его в клочки и в противоречия — то где же тогда фрейдистские комплексы? и где же объективный самодостаточный исследователь-биограф?

Насколько же веселей — и честней! — открытое неприятие, споры, нападки, даже ругань, — чем это болотное испытание пошлостью.

Чьё это лицо — в водной ряби?..

Не для читателей сплошь, а для специалистов, кому надо будет покопаться, — вот подробней.

Уже общая оценка «Телёнка» такова: это — недалеко от эренбургских самооправданий в мемуарах. (Что ж он понял? Эренбургу надо было оправдать тридцать лет коллаборантства с режимом. А что мне оправдывать — фронт? тюрьму? подпольщину? взрывы в морду власти?)

Какие мотивы могли двигать этим писателем, зачем-то полезшим атаковать могучую власть? Конечно: он гоним честолюбием и желанием преуспеть. (Объяснение от Решетовской и АПН, да и исконное обывательское о ком угодно: они кроме честолюбия, ну и наживы, ничего в людях не усматривают.) Конечно — дурные свойства характера: врождённая раздражительность и упрямство. (И вот — не ужился в Союзе писателей, где все отроду уживались.) — Поступил в комсомол в свои 18 пылких лет? — это было «конъюнктурное решение», то есть убеждений таких у юноши, конечно, быть не могло. Но затем, странно: на шарашке, уже пройдя обучение в тюрьмах и лагерях, — я имею взгляды, «тесно близкие к Копелеву»: как и он, я «ленинец во враждебном окружении», мы «объединяем себя с правящим слоем», мы оба «считаем своё осуждение ошибкой юстиции». (Вот уж — ни минуты я не считал. Всё так — чувствовал Копелев, и перетянул шкурку на меня, а Скэммел охотно принял.) Да что там, уже и в ссылке, после 8 лет лагерей (уже написаны «Пир победителей», «Пленники») — «ленинизм ударял по его ответной струне». Да что там, даже и в Рязани (написаны «Танки», «Круг», пишется «Архипелаг») — Солженицын «ещё сохранял веру в Ленина более или менее неповреждённой». Вот понял так понял, вот вник так вник. (Да у Скэммела и «Священный Байкал» — оказывается, «советская песня».) — Тогда упоминать ли ещё мнение биографа, что «дело не так просто», будто я не женился в ссылке из-за рукописей (и что их, правда, беречь и прятать, если они озарены ленинским светом? и много ли вообще стоят рукописи для писателя?), а не женился — потому что был «очерстевший холостяк», «не слишком большой опыт с женщинами», — вот это будет доступно, понятно и биографу, и читателю.

Не может быть, чтоб я имел в себе столько самообладания и внутреннего спокойствия, чтобы не кинуться упиваться симоновской статьёй об «Иване Денисовиче» в «Известиях» (статьёй советского фаворита в прожжённой советской газете; разве примыслится биографу такая дикость, что «Иван Денисович» уже был для меня в тот момент проскоченный барьер, а густые заботы клубились — о судьбе следующих произведений). — Не может быть, чтоб отказался от почётной встречи с великим Сартром^{*}, — от чего другого, как не от соединения гордости и робости: «буду слишком страдать». (Не допускает, что я Сартра просто презирал.) «Этот от-

* Солженицын Александр. Бодался телёнок с дубом. М., «Согласие», 1996, стр. 132. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия и страницы.)

каз возможно выражал известную паранойю со стороны Солженицына». (И много раз по книге рассыпана «паранойя» — с такой отмычкой биографу удобнее всего понять своего персонажа.) — Или вот появился меморандум Сахарова о сосуществовании и прогрессе, имеет шумный успех на Западе, — что должен ощущать Солженицын? Тут — «намёк на соперничество со стороны Солженицына». (Это когда я ужаснулся наивным аргументам Сахарова и его плохо продуманным формулировкам о советском социализме: куда ж он направляет освободительное движение и как искажённо представляет мир?) — Или вот: арест и процесс Синявского и Даниэля. «Создаётся впечатление, что Солженицын был расстроен этим внезапным включением прожекторов и ревновал к публичности, привлечённой ими». (У кого создаётся? Да я — облегчён был! что не на меня пока пришёл главный удар, что я ещё уцелел для «Архипелага». Я полон был «Архипелагом», выполнял в Укрывище по две нечеловеческие нормы в день, только бы успеть кончить! Эту придуманную зависть Скэммел меряет опять-таки по себе?) — А уж когда Синявский приезжал ко мне прощаться (и знакомиться) перед отъездом за границу — «это позирование», будто Солженицына тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, желающих потянуть наш русский жребий. То есть: просто вру, такого чувства к России у меня быть не могло, а ясно, что я только и мечтал сам удрать за границу. (Отчего ж не уехал за премией в 1970? отчего не принял в 1973 угрозного подталкивания КГБ, принесенного в клюве женой Синявского?)

А что ж когда доходит до моих критических моментов, до узлов жизни, где переламывается или взрывается судьба? Тут я ему — и напрочь непонятен, тут тем более надо наложить пластыри посредственности.

Письмо съезду писателей. Там сказано: «Свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. За движение [правды] я готов принять и смерть». Ну разве может так быть? Но это не помещается в обывательском лбу! Заплатить за свои книги жизнью? какой полумный! зачем? а кто, например, будет потом получать славу и гонорары? Итак: «Пошла мелодия риторических преувеличений».

Провал моего архива у Теуша*. Насмешка: «Подозрительность Солженицына и почти суеверный страх направили его истолкование прочь от случайности, но видеть единственное объяснение рейда [КГБ] в умышленном действии». А на самом деле? Очевидно: КГБ брело как слепое, понятия не имело, где и что ему искать, бросало шарик, к кому пойти на обыск. И во всём детальнейшем изложении — твёрдое правило: верить Зильбербергу и ни в чём не верить мне.

Разгон «Нового мира». Во 2-м дополнении к «Телёнку» (1971) я, *оглядываясь через год*, пишу: не оказав сама публичного сопротивления, головка редакции не должна была вымогать жертвы из младших членов редакции: уходите со службы, бросайте! и от авторов — забирайте рукописи, не печатайтесь!** — Это извращается Скэммелом так, будто я именно в самые недели разгрома в разговорах с другими авторами критиковал режим в «Новом мире», равнодушие Твардовского к младшим сотрудникам, даже якобы «предложил свою поддержку заместнику Твардовского Косолапову», и «вдохновлял других авторов к тому же». (А это — от Файфера, что ли? Тот сочинил, что я ходил к Косолапову с предложением услуг. Клевета что уголь — не обожжёт, так замарает.) — «Солженицын не был признателен никакому [советскому] журналу, лоялен — никакому издателю». А потому что путь мой начался не в хрущёвскую «оттепель», а от огней революции — и обещал окончиться лишь где-то в конце века. Я берёг себя для огромной работы, для больших боёв с этим Драконом — но в голове Скэммела такое не может поместиться, и он ищет посредственности: сотрудничество с советскими властями? Да он и видит это «сотрудничество» на каждом шагу моей жизни: после «Ивана Денисовича»... вступил в Союз писателей (а должен был остаться преподавать в школе), «посещал кремлёвские встречи» (а должен был — плюнуть на приглашение ЦК, швырнуть

* «Телёнок», стр. 117 — 120, 423 — 428.

** Там же, стр. 263, 264.

им в лицо назад), «активно состязался за Ленинскую премию» (в чём же я «активно состязался»? не шевельнулся за всю ту историю).

Вот так он меня излиховал.

Тщится непременно поставить себя выше своего объекта и как бы «над схваткой» — но не упускает перенимать себе каждый аргумент моих противников, в том числе ГБ. Широко и просторно использует материал из моих книг (часто — как будто им добытый, не ссылаясь) — но не теряет настороженной недоверчивости: а к чему бы придаться? а где бы ковырнуть? а какой бы штрих мог персонажа опорочить?

На компромиссы, Скэммел меня поучает (!), идти нельзя. Но и он же поучает: нельзя «твердолобо противостоять реальности» и «толкать власть на невозможное» (это — прямо от АПН—Решетовской: надо же пожалеть власть!). Хорошая вразумка.

Взявшись изложить мою семейную жизнь по рассказам бывшей жены, безоговорочно приняв её сценарий (со всеми диспропорциями, сокрытиями, припрятыванием шестилетнего другого замужества, пока я был зэк, раздуванием её небывлой роли в моей работе), — он переступает и дальше: именно по её показаниям объяснить и мои отношения с Твардовским, и встречи с ним с глазу на глаз, и что происходило в «Новом мире», чего Решетовская сама не видела, — и всё это для него достоверней моего прямого рассказа. И мои отношения с властями, всё политическое истолкование событий — взято тоже от неё. А если её версии кажутся в чём-то спорными, то, после подгонного рассуждения, биограф постоянно склоняется в её пользу.

Так вот только почему Скэммел не написал биографии *литературной*, как вроде бы собирался: он увлёкся — бракоразводным процессом...

Да как я мог подумать, что Решетовская была кем-то послана ко мне вести переговоры о «Раковом корпусе»? (Нет, она *от себя* предлагала напечатать его *в своём* издательстве?) Да в крайнем случае, если, мол, и послана, то от ЦК партии, а не от КГБ! (Смех один. И АПН он пытается вслед за Решетовской отличить от КГБ...) Да как же я мог вообразить, что на Казанском вокзале нас фотографируют или записывают на плёнку? Это «свидетельствует о сильно окрашенном видении реальности, если не о симптомах подлинной паранойи». (Интересно, и после тайных съёмок Сахарова в горьковской больнице на фильм — Скэммел всё верит, что это — паранойя? И после свидетельства Галины Вишневской, как, вслед моему отъезду от них, гебисты извлекли из-под пола «моего» флигеля большой ящик аппаратуры, — тоже паранойя?) И — неужели я мог поверить, что КГБ (после угрожающих анонимок, присланных через проверяемую ГБ почту) может что-либо сделать с моими детьми? «До какого предела он был пленник саморождённого мифа?»

Вот в такую топь и должен был забрести биограф, постоянно непременно ища аргументы в пользу противоположной стороны. И как подходит ему всё из книги АПН—Решетовской, черпает оттуда немеряно.

По мнению Скэммела я — то и дело преувеличиваю опасности и просто играю в ненужную конспирацию. (И что ж он понял, как приплюснута была моя душа этой ежедневной конспирацией, как она разрушала мне нормальную жизнь и писание?) Он видит «избыточное самоудовлетворение» в том, как я заучивал тексты наизусть и сжигал их. (И только тем спас. Он и представить себе не может, сколько моих предшественников безвестно погибло на том пути.)

Наконец — и изгнание моё с родины нельзя же не оболгать. Я пишу в «Телёнке», что когда в самолёте внезапно вскочил и пошёл искать уборную (я в самолёте-то летел всего второй раз в жизни) — то ближайшее заднее помещение было пустое, — да не до разглядывания было, уже гебист положил руку на плечо и повернул меня. Но отсюда Скэммел разворачивает торжествующий детектив: ага! врёт! известно, что в заднем салоне сидели пассажиры — а тут никого? (Да, я за весь полёт не видел людей и не подозревал, что кто-то ещё летит, кроме моих гебистов.) Так — не врёт ли и всё остальное?? Да может быть Солженицын добровольно сговорился об

* «Телёнок», стр. 329 — 334.

отъезде?! — а тогда потрясающий вывод: это уравнивает его высылку с отъездами (через ОВИР) Синявского, Бродского, Максимова и других?! «Подобно многим другим неясностям его жизни это всё ещё надо уяснить» — к тому нюх биографа и интеллект исследователя. (На чём основаны его подозрения? — да ни на чём, на обязанности биографа непременно подозревать.) — Да больше, да даже такой вопрос: а кто выбрал Германию? Да может ли это быть, чтоб Солженицын не знал о месте, куда летит самолёт, пока не приземлился во Франкфурте и увидел надпись, — наверно и тут врёт? да неужели же в его салоне не было объявлений по громкоговорителям, куда летят? неужели советские могли отключить? (Именно так.)*

Не затрудняется Скэммел бойко объяснять непонятные ему мои мотивы и на Западе. Не отвечал на нападки противников? — значит, попали в цель, так оно и есть. Отвечал (Карлайл)? — «ничем не вызванная резкость». А почему на Западе вмешался в политику? «Это — бессознательный побег от проблем, возникших в историческом романе: на Западе [Солженицын] встретил большие трудности от массы информации» (то есть: открылись мне архивы, упиваюсь! — нам бы ваши заботы...). Вот, выступление в Вашингтоне в 1975? «Можно только спекулировать о причинах такого экстраординарного взрыва». (Вдоль и поперёк зубрил «Телёнка» — и не понял. Какие угодно личные, и низкие, мотивы — только не принципиальные. Не понял простой горячки боя — и что же вообще он понял во мне? зачем же взялся обо мне писать? — только для престижа? для заработка?) — Скэммелу «трудно объяснить и повышенный тон радиовыступления» в Англии. (Это — действительно не на поверхности, да. Это — русская горечь на Англию за её измены в Гражданской войне и во Второй Мировой. Но тут как раз не я его и занимаю, у него взметнулось своё истинное левое негодование на отечество: как могла Англия так восторгнуться Солженицыным и даже оскорблениями от него? «Низкое состояние британской морали и чувство неполноценности, достигнутое к середине века... оргия мазохистической эвфории». Да сходно — и во Франции, бя!)

Наконец и мою вермонтскую замкнутость — чем можно объяснить? не может быть у писателя нужды в уединённой тишине! — ясно, что и тут моя «психологическая причуда».

А если ещё и сам персонаж там, сям, в своих разных книгах каялся о скрытых поступках своей жизни — то какие ещё возможности выпясывания для низкой души! Такие раскаяния, каких сам и не сочинишь, — как эффектно пустить в финале распухшей книги, — но уж не от персонажа, конечно, а от добросовестного биографа.

Всё ж иногда Скэммел признаётся: «трудно его трактовать». Приведёт какую-нибудь сочную цитату из моей книги, использует её для себя и тут же укусит исподтишка: да может быть так, но отчасти и не так. Всё время — страх занять окончательно чёткую позицию. Двусмысленность тона на всякий случай.

Так неужели ж его прокламированный когда-то литературно-исторический очерк, «больше о Вашем творчестве, чем о Вас и о Вашей жизни», — так-таки и сполз бессильно в одну лишь политику и быт? так-таки ничего собственно о литературе в 1100-страничной «биографии писателя»? И что же, в этом нисходящем ряду: «Ахматова, Пастернак... Бродский, Синявский, Надежда Мандельштам, Виктор Некрасов» — есть ли место Солженицыну? действительно ли он так талантлив? — приводит высказывания туда и сюда, вот Копелев, например, судит очень скептически. (Но какое-то местечко в литературе всё же есть, раз издательство такую пухлую биографию Скэммелу заказало.)

Да, трудно брести по жизни писателя без художественного вкуса и личного такта. Духовного измерения, мировоззрения, взгляда на историю и тем более

* В 1994 в России опубликовали сборник «Кремлёвский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне» (М., «Родина», 1994). Там — документально представлено, как Политбюро ЦК замысливало мою высылку и осуществило. (И как, по крайней мере с 1965, рассматривало каждый мой шаг в лупу, по докладам КГБ.) — Надумали было эту книгу переводить и в Штатах. И — кто же выскочил со всезнанием писать отзыв? Да Скэммел же! — не утрать от своего прежнего и не видя себе в том никакого морального неудобства. (Примеч. 1995.)

смысла самих моих книг — там не искать. Ни даже прямых статей, напечатанных в «Из-под глыб», Скэммел не понял, всё свёл к шаблонной политике. Хочет стать выше предмета — а ползёт всё ниже и ниже, всё кряду запошил. В том духовном мире, в котором я жил все годы, — он не был ни минуты. Ему недоступно поверить, что можно действительно ощущать долг перед погибшими, долг перед Россией. Сам сплетенный из мелочных черт — он безнадежен объяснить мою жизнь, хоть бы и хотел.

Он и сам пишет (вразумляя «авторитарного» Солженицына): «свобода в том, чтобы быть пошлым, сенсационным, безответственным — равно как и серьёзным и объективным». Вот-вот, на мою биографию неизбежно должен был найтись околлитературный пошляк, он и нашёлся.

Американская пресса, разумеется, хлынула ливнем похвал на биографа, рецензенты друг у друга переписывали похвалы (не все, конечно, одолев тысячу с лишним страниц): биография хорошо сбалансирована (это-то для американцев самое главное)... справился с невероятно трудной задачей... может стать одной из великих книг нашего времени... возможно самая важная биография... шедевр биографического искусства... Это — больше, чем обзор исключительной жизни, — это и история советского общества...

Совсем потерялись в хоре восторгов одиночные голоса: кто не нашёл в книге «серьёзного и глубокого изложения», кто сетовал, что у Скэммела «почти полностью отсутствует какой бы то ни было анализ литературного мастерства писателя и той традиции, с которой надо связывать его политическое мышление».

Можно себе представить, как же расцвёл под порханьем похвал нечестнолюбивый Скэммел, как же он раззявился на славу, ведь сравнивали его и с Шекспиром. Увесистая биография принесла ему докторскую в Колумбии, кафедру в Корнеле, всеамериканское турне по университетам: ещё отдельно поведывать студентам, как писал он биографию Солженицына, с какими трудностями и находчивостью.

А потому что на родине у себя, в Британии, не разъездишься: там-то у критиков и поглубже знания, и вкус — и мимоглядная пухлая биография Скэммела восторгов не вызвала. Поначалу назвали было серьёзным достижением... убедительной трактовкой... — но быстро осадили Скэммела в ведущих газетах: в этой «трудолюбивой биографии — тенденция не видеть леса за деревьями», в книге «нет красок, метафор, ни одной вспышки неожиданного остроумия... серый стиль снижает достоверность биографии... не даёт нам почувствовать радости борьбы» — да если Скэммел сам её не почувствовал, так откуда взять? «Многое уже известно из „Телёнка“... Скэммелу недостаёт литературного воображения, таланта и духовной проницательности... Возникают серьёзные сомнения об общем понимании Скэммелом биографии писателя... Мелкие достоинства, а книга — не состоялась... Повествование, выдыхаясь, попадает в колею проходных мест... Истошился, не сумел осуществить грандиозную цель...»

А в Соединённых Штатах была и ещё одна рецензия, в «Нью рипаблик», быстро вслед книге Скэммела: Карла Проффера. Фамилию эту я помнил: это ж тот самый Проффер, которого накликал мне Лёва Копелев в декабре 1973, последней моей зимой в Переделкине, в мои чёрные дни. Его с женой Лев привёз, меня не предупредив, а им, очевидно, обещал встречу со мной. Лев нашёл меня на участке под дальними соснами: «Профферы приехали! Пойдём!» — «Кто ещё такие?...» — «Американские издатели! Влиятельные! Пойдём!» Боже, зачем? Душеньку мою измученную оставьте в покое, не пойду! в голову не лезет никакой разговор. Лёва страшно раздосадовался, ещё угovarивал меня, впустую. Наверно объяснил им: капризный, трудный характер. Натурально им и оскорбить-ся: мы из Америки ехали, а он тут рядом, и не идёт.

Потом, на Западе, жена и соиздательница ещё, кажется, писала Але в Швейцарию, но не дошли наши руки завести знакомство. (А были они действительно влиятельны: создали и успешно вели издательство «Ардис» в Мичигане.) Видимо, обиделась чета на нас крепко. Когда появились «Прусские ночи» по-английски — на них была мгновенная рецензия Проффера: зачем было об этом бездарно писать (в 1950), если у Копелева написаны (к 70-м годам) талантливые мемуары о его наблюдениях в Восточной Пруссии? А теперь — вот эта рецензия.

Прочёл я её в ряду других американских — раньше, чем сам томище Скэммела. Даже из этого ряда она выделялась резкостью. И Проффер, как все те, находит книгу Скэммела «тщательной, убедительной, сбалансированной». Вполне он убеждён Скэммелом, что Солженицыну «не чуждо извращение фактов», вот — «Скэммел доказывает документально, что подробности высылки были Солженицыным искажены» (каким же документом?). Но с высоты своей американской культуры взирая на поперёк изученную им русскую, Проффер разрешает себе заявить и вообще о «бледной русской литературе, которая тянулась со средневековых времён до пушкинского периода»; о том, что русские сами о своих всегда пишут «жизнеописания святых», напротив, «основные труды о многих русских явлениях, политических деятелях и писателях были написаны не в России и даже не по-русски». (Это чванство весьма присуще многим западным славистам: что основные труды о России написали именно они. О самом Проффере читаем, что после университетской баскетбольной юности он сперва подумывал стать профессионалом баскетбола*, затем избрал своим жизненным занятием русскую культуру.) С такой-то высоты Профферу легко высмеять идею, будто страдания (а не комфорт) возвышают дух: тогда, хохочет он, «камбоджийцы уже, наверно, гиганты духа». (А и — пригляделся бы к ним, прищурился, камбоджийцы в Штатах есть, духовней многих американцев.) И я ему понятен насквозь: выступления мои — «трескотня... что-то болтает»; Гарвардская речь — «достойная старшеклассника ахинея»; успех мой с «Иваном Денисовичем» просто в том, что «с лагерной темой опередил других»; похвалы «Кругу» неоправданны; но и в «Архипелаге» «Солженицын не научился основным литературным приёмам. (Вскоре я узнал, что эту рецензию Проффер писал, умирая от рака и уже зная, что обречён. Умирающей рукой выпечатал он, чего этот ненавистный Солженицын заслуживает, и — будем надеяться, что успокоенно — умер, статья — последнее, написанное им.)

Однако рецензия Проффера выделилась для меня не этими злыми замечаниями, а вот чем: Копелевым, де, описан другой Солженицын-Нержин — советский патриот, энтузиаст, который вместе с Копелевым «страстно желал идентифицировать предателя и поймать его», охотно оказывал в том Копелеву необходимую математическую помощь — и, может быть, в задних расчётах предвидел от того и себе досрочное освобождение.

Волосы дыбом! Откуда эта бредятина? Пережитое на шарашке только и именно Львом — откуда приписано мне?

Стал доискиваться у Скэммела — да, вот! «из бесед с Копелевым», тут и: до чего ленинские взгляды я имел на шарашке, и как мы с Копелевым считали себя «жертвами судебной ошибки», — чудовищно, так чувствовал Лёвка, но никак не я! И — что за «математическая помощь для распознавания голоса дипломата»? Во-первых, такая математика никак не могла бы быть Льву полезна, ибо весь его метод в той группе был — на глазок, «лапоть вправо — лапоть влево». Во-вторых, я не только ни минуты не состоял в их строго-секретной группе — но от первого рассказа Льва об этом тайном случае отшатнулся, отверг его щедрое предложение — при успехе группы в будущем в неё войти. Я только страстно ловил от Копелева — ещё, ещё подробностей об этом случае, ибо в тот же миг

* «Время и мы», Нью-Йорк, № 79 (1984), стр. 244.

(а не годы спустя) с трепетом ощутил — какой это будет выдающийся литературный сюжет! А Скэммел, по своему правилу всегда принимать за истину трактовку недоброжелательную, конечно полностью принял копелевскую версию. И вот откуда родилось злорадное приплясывание Проффера.

Так — зачем же так, Лёва?? Зачем ты для Скэммела это выдумал? Ведь в твоих печатных воспоминаниях — ничего подобного нет. (И о взглядах моих пишешь, спасибо, правду, что я был — против Ленина, а «последователь скептика Пиррона».)

Так — зачем? почему?

Стал я раздумываться. А ведь Лев — не по злости. Сочинил, может быть, вполне бессознательно: хотя и ловил он «атомного вора», как он называл, — но с годами, да ещё попав на Запад, вероятно, чувствует неловкость за то деяние и тяжесть его, — и, с замыслом или невольно, теперь стал растягивать и на мои плечи.

...От моего возврата из казахстанской ссылки в 1956 и до изгнания в 1974 — все 18 лет отношения наши со Львом сохранялись дружески-зэческими, тёплыми, несмотря на коренную, многостороннюю разницу во взглядах. Но...

Когда мы ещё жили на шарашке — то и Панин, и Копелев, оба на 6-7 лет старше меня, привыкли относиться ко мне как к младшему и как бы ведомому. Отенок этого остался у них и много лет спустя, когда мы отбыли сроки: я не должен был «ходить своими ногами». Помню, как Панин в 1961 гневно, уничтожительно выговаривал мне, как я смел, не спрося его, открыть конспирацию: отдать «Ивана Денисовича» в «Новый мир». Митя считал это провалом всей жизни — моей, да и его (теперь засветится и он...). Лев, напротив, тому помогал — и, в центре московского бурления, стал — и считался у московской общественности — самым осведомлённым о моих планах и поступках человеком. Я в самом деле, приезжая в Москву, часто бывал у них с Раей. Но именно по их перекрестной открытости — стал бывать реже и скрыл от Льва всю работу над «Архипелагом» и мои отлучки для того в разные укрышища. Это причиняло Льву большую боль и лишало его осведомлённости обо мне, которой от него все ждали. А так как идейно мы всё более расходились — я и подготовку иных публицистических ходов и работ («Из-под глыб») тоже не открывал ему.

Последовал гнев Льва на «Мир и насилие», а уж «Письмо вождям» он прочёл после моей высылки — и написал огромную гневную отповедь, видя в том «Письме» измену благородному либерализму. От этого, когда меня выслали, — не стало между мной и им *левой* переписки, и Лёва ещё более обескуражился и ревновал, что не знает обо мне дальше и не может направить меня, с кем мне на Западе дружить, а кого чураться.

И вскоре что-то со Львом резко изменилось. От общих наших многих друзей, а потом и от случайных в Москву заезжих, через письма и пересказы, стало до меня доноситься, и всё настойчивее, и всё горше, что он меня в Москве стал бранить, хулить да просто ругаться — в любом доме, в любом обществе, где бы только коснулся меня разговор.

Разводил я руками. С кем тёрлись мы на шарашке плечом к плечу, задушевно разговаривали часами, так теплы были всегда, вопреки и тогда же разноте взглядов, — и вдруг? Что случилось с тобой? И не поверить — уже нельзя, и не объясниться через Занавес. А — катится, катится по Москве неудержимо.

И оказалось это весьма ядовитым, потому что Лев всё общался с западными людьми, как авторитетнейший истолкователь советской жизни, да и как «самый же близкий» ко мне человек, знающий меня просто насквозь, — и все мнения Копелева так же авторитетно теперь передавались на Запад и утверждались там в интеллигенции, литературоведении и печати: что литературная способность моя ограничена описанием лишь того, что я видел собственными глазами, остальное мне всё не удаётся; что Ленин художественно удался мне лишь потому, что я описал сам себя, это и есть — мой жестокий, ужасный характер вождя безжалостной партии; что моя партия уже реально создаётся, это

крайний русский национализм, и он будет ужаснее большевизма; дальше Копелев меня смешивал и со Сталиным, с аятоллой Хомейни, а уж «черносотенец, монархист, теократ» — это были самые мягкие клички.

Но в 1978 Копелевы из Москвы поручали западному журналисту передать мне поздравления к 60-летию, всё же. В 1979 Копелев опровергал публично: что никак не соучаствовал со Ржезачем (тот в предисловии Льва благодарил), и книга того — грязная. В 1980, когда Копелевы выехали за границу, — я послал Льву дружеское примирительное письмо. Тогда я, ещё не оценивая всех последствий его недобрых наговоров, написал: «Минувшие годы с сожалением воспринимал доходившие до меня из разных уст слухи, что ты враждебно высказываешься обо мне. Сам я нигде о тебе дурно не высказывался, ни устно, ни письменно, и если тебе попадётся теперь изданный „Круг“—96, ты увидишь, что ни доли теплоты к тебе там не убавилось». Лев ответил, что ничего враждебного не было, а только несогласия. Теперь между нами возникла табельная переписка ко дням рождения, к Новому году, разок они нас и «Христос Воскресе» поздравляли, казалось — отношения могли вполне наладиться. Лев предупредил, что дискуссий не хочет ни публичных, ни личных, да не рвался к ним и я, однако заметил ему об одной его публичной речи: «Хорошо говоришь о „единой немецкой нации“ — а что ж не рубанёшь ГДР? Уж ты ли её (и их там) не знаешь? — (Он был воспитатель многих восточногерманских оборотней — из национал-социалистов в коммунисты, — он сегодня и в ФРГ очень видная уважаемая фигура, он публично заявил, что прощает немцам сразу и как еврей, и как русский — а немцы изжаждались по прощению, ещё бы! кто их не травит и сегодня!) — Если находишь место побранить старую Россию, которая не существует, то ГДР — рядом, и ещё как существует». Однако ж порадовался, что, в отличие от большинства 3-й эмиграции, он «добродушен к России метафизической». Тут Лев обиделся: он не «добродушен» к России, а страстно любит её, это его родная страна, — пришло от него поучительное письмо на 12 больших страницах. Почему щадит ГДР — не объяснил. Но выражал ко мне и «горькую печальную жалость», и бранился «антикоммунистом советской выпечки», а вокруг меня «одиночество», но и тут же, в противоречие, толпа «почитателей-шестёрок»; и толкал меня к Суслову как единомышленнику; не упустил лягнуть Рейгана как «голливудского ковбоя». Но что меня поразило: он выражал, что я *не думаю* того, что говорю и пишу, это — не мои подлинные мысли, а я лишь уверен, что их надо «внушить народу и вождям».

Но тогда — как, правда, разговаривать? Сколько ни поносили меня на Востоке и на Западе, и что я думаю — плохо, и что пишу — плохо, но никто до Копелева не придумал обвинить, что я пишу — не то, что думаю...

А впрочем — упрекать ли?.. Разве Лёва вот это всё — *думает* про меня? Да нет же, конечно. Это, как бы сказать, поёт в нём страдание обманутой любви: как же я мог перестать быть к нему доверен? отдалиться от него? Внешне, во гневе, Лёва может ожесточиться, а сердце-то у него — уязвимо мягко.

И опять перешло у нас на табельные видовые открытки или телеграммы ко дню рождения...

Однако после этой околесицы в статье Проффера, с которым Копелев был так дружен, — я не мог не спросить у Льва объяснения: как понять эту чудовищную фразу — будто я «не спал ночами, чтобы поймать врага народа, торгующего с атомной Америкой?» — ведь это относится лишь к самому Льву, это он ловил, а не я*.

Прикатил ото Льва ответ — на 16 больших страницах. Много воспоминаний, и перекошенных; и после «Глыб» (то есть проявлясь в них) «я стал обыкновенным черносотенцем» и «большевик навыворот», — а в объяснение фразы Проффера — ни слова! Правда, приложил ксерокопии четырёх страни-

* Солженицын Александр. В круге первом, главы 36, 47, 87.

чек из своей книги о шарашке. Читаю. Того поклёпа и тут нет. А всё же — это нечто другое, чем было в журнальчике, расходится. Тут — и злее, и понесло его на какую-то вздорную выдумку, будто я на шарашке, на виду у кагебистских барышень, старался выслужиться. Э, Лёва, помолчать бы тебе о «выслуживании»: я в артикуляционной группе лепил безжалостные приговоры престижным секретным телефонным системам и за то загремел в лагерь, — а ты после меня на том самом служебном месте благополучно четыре года удержался, так значит *ладил*? Крайне гадко выразился Лев и о нашем милом начальнике лаборатории Трахтмане («Ройтман» в «Круге первом»)*.

Такая ладная тюремная дружба — и вот так вздорно, ревниво, ничтожно рухнула. Больно.

Знать, на этой Земле нам уже не дотолковаться. Если «Красное Колесо», пишет, «черносотенная сказка о жидомасонском завоевании» — да заглядывал ли он в «Колесо»? — о чём нам переписываться дальше?

Умер Генрих Бёлль, из его опубликованной посмертно переписки с астрономом доктором Теодором Шмидт-Калером вижу, что, «по объяснениям своих русско-говорящих друзей» (а кто ж там, кроме Копелева и Эткинда?), унёс Бёлль в могилу предательство, что я — враг всякого разнообразия мнений и свободы их. (Так истолковали ему ещё неперевоенных «Наших плюралистов».)

Ах, Лёва, Лёва. Я-то — равновесно выдержал свой внешний жизненный успех, а вот ты — не выдержал моего. И своего.

На том мы со Львом и разнались. Горько.

От самой своей эмиграции в Париж, уже 15 лет, применял против меня метод «устной пропаганды» — ещё и тихий гроссмейстер злоречия Синявский. В парижских кругах, где потесней: «Солженицын — раковая опухоль на русской культуре»; а где пошире, в выступлениях перед эмигрантскими группами — с тартюфским сожалением: «Какой большой писатель погиб из-за отсутствия критики!» Ещё — и на радио, конечно. Ещё — и в Вильсон-центре, и в других Вашингтонских важных сферах. Ещё ж, и крепче, крепче с годами, — в фойе всех литературных и славистских конференций, куда он не устал ездить. Разумно смеряя размеры аудитории, он запускал долгоцветущие язвы против меня, чутко варьируя по времени, месту и публике. На фоне этой неутомимой упорной кампании — реже и оглядчивей были печатные выступления Синявского, однако и они изумляли.

Я только в 1974 отозвался публично на его «Россия-мать, Россия-сука» — а потом сплошь молчал, восемь лет, до «Наших плюралистов» (1983)**. От них Синявский, видимо, сильно потерял равновесие (рассчитывал ли он, что я вообще никогда ни словом не отвечу?). Особенно его ранило появление «Плюралистов» тут же и по-французски. (Я и не собирался переводить ни на какой язык, эта статья была внутрирусская, но Клод Дюран захотел перевести, считая, что и во Франции таких настроений немало.) Уже полгода было русской статье — никто по-русски мне не отвечал, а тут, на иностранной почве, Синявскому надо было отвечать скорохватно. В короткие дни он выступил и в «Монде», и в «Нувель обсерватёр».

Он не отвечал (и никогда потом не ответил, и никто другой не ответил) на сумму главных доводов. Но тут, для французских газет, ему это и не нужно было, — а что-нибудь резкое, быстрое, чтобы перебить впечатление. И он ме-

* Ныне, в России, встретился я и с Абрамом Менделевичем Трахтманом. Книгу Льва он читал, и несправедливость очень обидела его: уж как он уважал Копелева, как смягчал ему существование в неволе. И анекдот: освобождаясь, Копелев просил Трахтмана дать ему... характеристику для возвращения в КПСС... (Примеч. 1995.)

** Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Т. 1. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997, стр. 406 — 444. (Далее ссылки на это издание даются с указанием названия, тома и страницы.)

тал: «спор идёт о свободе мысли и слова» (совсем же не о том, но очень удобный конёк), «нас заставляют лезть в единомыслие», «не рецидив ли это марксизма?». Метал опрометчиво, ибо терпеливый французский читатель легко мог проверить, что ничего подобного в моей статье нет. Однако его расчёт (довольно верный): кто там будет листать, искать, что у меня: «А истина, а правда во всём мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем к ней приблизиться, прикоснуться». А у Синявского броско: «Истина одна, и она принадлежит Солженицыну». (Вскоре вслед за ним и Эткинд: «Истина одна, Божья, а известна она — ему, Солженицыну».)

О, где те достойные мужи прошлых веков, умевшие тонко понимать, благородно и взвешенно спорить? Отчего у нынешних, даже Эстетов, вся полемика сбивается на кривое залыганье? Удивительно, что Синявский, с его, говорят, рафинированностью, — срывается в бесчестье прямых подлогов с цитатами, и не раз, и даже слишком часто.

Я пишу в «Плюралистах» о подкупленной властью элите: «...ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили... марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лекторами; режиссёрами кино и радио, даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже прокурорами! — и нам, с лагерного и провинциального дна, справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. *И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лэжи — то именно через них прорыв, через их ложь, — и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки.*» — Синявский цитирует только ту фразу, которую я здесь выделил курсивом, и фальшиво подставляет, будто я отношу её *ко всей* «российской интеллигенции», и ещё подписывает гаденько от себя: *к тем*, кто «восхищался и горячо поддерживал» повесть об Иване Денисовиче. (Ну может ли быть кто неблагодарнее и несправедливее этого Солженицына! — И тут же, развязно, объявляет себя моим кумом, зачем-то прикумился ко мне, странный приём; мы вообще виделись единожды в жизни, а это он с Алей крестил сына Гинзбурга.)

А ещё — закидывает и такой плодоносный корешок (уже в «Обзервере», перекинувшись через Ла-Манш): Солженицын раздувает «миф новой опасности», что Запад якобы заражён русофобией. Повторив, что Солженицын «ненавидит русскую интеллигенцию» и особенно «обвиняет евреев, поляков, латышей», — он кончает эффектным курбетом: разве «миф» Солженицына не подтверждает советскую пропаганду, что империалистический мир стремится уничтожить Россию? значит, идея Солженицына «чревата идеей войны!» (Биби-си тут же подхватило передать это интервью по-русски в СССР.)

Это он метко расчёл: «поджигателем войны» (за то, что я показывал пустотелость «разрядки») меня уже не раз клеймили на Западе, это обвинение — пойдёт, погуляет. А уж «антисемит» — это он не первый раз выпускает, и ещё как развил.

Теперь, разогнавшись или расхрабрався, Синявский объявил, что отныне между ним и Солженицыным наступает «открытая гражданская война». (Он только не сверился с моим рабочим расписанием.)

А подделывать цитаты в полемике — этому наших плюралистов, видимо, учить не надо, вслед Синявскому подхватили в те же недели в эмигрантской нью-йоркской «Трибуне» (№ 5, янв. 1984). И тут — несколько подделок сразу.

Я пишу об африканских условиях жизни у нас на родине, о грандиозных и страшных процессах, но «наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти», у них одна забота: «возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то сбросит нынешний режим... над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)»* —

* «Наши плюралисты». — «Публицистика», т. 1, стр. 431, 432.

Они, даже не чуя иронии над собой, всерьез клеймят, что я — вообще отвергаю свободу слова, забочусь о масле вместо него. А между тем, пишут, «неужели не очевидно, что там, где есть свобода и плюрализм (даже слишком, даже в избытке), там есть мясо и хлеб (тоже в избытке)». Легко вам пахать...*

Я нахожу комичным, как здешние плюралисты «публично жалуются на массу рядовых еврейских эмигрантов, что те находят американские свободы избыточными до опасности; нельзя без улыбки читать жалобы Шрагина», — и перечисляю их пожелания *в изложении самого Шрагина***. В «Трибуне» передёрнуто дважды: сперва — будто это *мои* пожелания, а затем — будто уже и не к Штатам относятся, а мои «запреты» для будущей России.

Ну можно ли так спорить? Или уж — совсем вам нечего возразить по сути? (В той же «Трибуне» с поразительной откровенностью проговариваются, подтверждая мою тревогу: «безразлично, пусть эта родина ограничивается хоть Московской областью, а рядом будет дружественная или братская Рязанская», мол, лишь можно было бы билет купить, как из Франции в Германию...)

На главные из этих подделок указала Аля в короткой деловой справке в «Вестнике»***. И что же? Если на тебя наклепали — возрази с негодованием! Нет, молчат. Ну а если словили на воровстве, так убери же руку! Ничего подобного. Прошёл потом ещё один год (а от первой синявской подмухлёвки уже два), — Синявский в своём домашнем «Синтаксисе» — вот уже пойманный за руку — снова повторяет слово в слово те же подделки, не мигнув глазом, — и что я прорывался через «русскую интеллигенцию», а не продавшуюся элиту, и тот же «рецидив марксизма», и уже не кум я ему просто, а «мой старый кум»****. (Чувствуете, какая у нас давняя неразливная дружба? сколько поллитров мы вместе опорожнили? так он-то — знает, о ком судит.)

Приходится предположить: не пала ли немощь на его перо? Если тебя уличили во лжи, и если минули два года — отчего б не написать совсем новую статью? зачем же волочь всю неизменную рухлядь подделок и сюда? Отчего ему так жалко расстаться с ней? Так бывает только по скудости, когда обмогаются остатком.

Ну, правда, чуть подсвежил за два года. Вот такое придумал: «для Солженицына Зло и Ложь начались с эпохи Ренессанса» (опять подделка, я говорил: отсюда пошло выветривание общественной нравственности), а это затем, чтоб самому подбочениться: «Я лично полагаю — Ложь и Зло начались с грехопадения». *Лично он!* — отдельно от Писания и Церкви! — смекаете, каков уровень? А сам Солженицын «недообразованный патриот», — как эти все мыслители передо мной гордятся, что кончали советский промарксованный гуманитарный факультет. — Проходит ещё около года, и в том же «Синтаксисе» некий раскалённый И. Шамир повторяет всю ту же, ту же подделку из «Трибуны», приписывает мне цитату из Шрагина — и уж как выплясывает на ней! Она — центр его обвинений. Допустить, что Шамир по раскалённости пробросился? — но Синявский-то верно знает, что здесь ложь, Аля и это в «Справке» припечатала, — так останови автора? поправь? Нет. (И в следующем номере «Синтаксиса» та же подделка перекочевала уже и к Вайлю-Генису, уже приросла — не оторвёшь.)

Что же думать об этом человеке? Как же может тончайший эстет бороться такими приёмами?

Сам себя он объясняет нам так: «Когда я читаю, либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни»*****. Оставим неразгаданным, зачем ему постоянно носить в жизни маску, — но если в таких вот письменных приёмах видеть его предельную откровенность?..

* Реформаторы 90-х годов и показали обнищавшей России: свободы — завались, да масло и мясо многим ли по карману? (Примеч. 1998.)

** «Публицистика», т. 1, стр. 425, 426.

*** «Вестник РХД», № 142 (1984).

**** «Синтаксис», Париж, № 14 (1985).

***** «Синтаксис», № 5 (1979).

Впрочем, и устные же он не покинул. Снова поехал по Штатам с выступлениями к трезьемигрантам: «Да что слушать Солженицына? Его почитатели — чёрная сотня! А Парвус у него — воплощённое жидовство!» (Опять этот крючок: евреи! очнитесь! помогите! ударьте!)

Чего ж этот враждолобец от меня хочет?

Его многолетняя одержимость «солженицынской темой» вызывает удивление среди эмигрантов: он как будто не может рассеяться, отвлечься, заинтересоваться ещё чем-нибудь, как если бы избрал это своим жизненным амплуа, как если бы волок это на себе неотклонимым заданием. Сопоставляют с его досрочным освобождением из лагеря по *помилровке*; льготной эмиграцией — без израильской визы, сразу во Францию, да с сохранением советского паспорта (и ещё с большой коллекцией старых икон, небывало); да прежнее его авантюрное сотрудничество с ГБ, о котором он и сам написал («Спокойной ночи»), теперь и друг его молодости С. Хмельницкий*. И выводят — что не удалось ему выпутаться из «министерства правды».

Другие, напротив, — репутацию Синявского считают безущербной, авторитет бесспорным, а в его неотступной занятости мною видят оправданную напряжённость принципиального спора.

Да есть ли этот принципиальный спор? Ведь Синявский неизменно — подделками, передёргами, подстановками — лепит чучел из моих мыслей и слов — и вот их-то ниспровергает, на них указывает пальцем, их вымазывает дёгтем, и желающих приглашает. Сам же он, с его тонкостью, если не интеллектуальной, то эстетической, с его действительным умением *читать текст*, — не может находить у меня тех уродцев, и верить в то не может.

Так что же?

Нет, я думаю: *корень* его атак — не побуждение извне и не столкновение взглядов. Нутрянее.

Моё внезапное изневольное, в прожекторах и грохоте «Архипелага», приземление на Западе, где он лишь только обосновался, лишь только напечатал свой лагерный «Голос из хора», видимо, породили в нём фантомные страхи за *свою территорию*. Его тёмно-причудливое воображение наделяло меня свойствами и намерениями, от которых я не мог бы быть дальше. Тогда, в первые месяцы, супруги Синявские не в силах были сдерживать эти страхи: я хочу его «съесть, уничтожить», учреждаю «диктатуру», думаю только о «своей короне». Это мучительное наваждение, видно, не проходило, и он стал его редактировать в «спор». А просто: я до изнеможения мешаю ему своим существованием, в том и виновен.

Не ново, бесплодно, тоскливо...

Эмигрантские издания роились несчётно. И меня не забывали, ой не забывали.

Даже, оказывается, диссидентская функционерка Людмила Алексеева публиковала, не шутите, книгу — и в ней размышления о вреде Солженицына. И Янов юркими ножницами настригал уже как бы не четвёртую-пятую набатную книгу. И клокотали анонимные авторы в «Синтаксисе». И социалист Плющ распалённо отвечал на «Плюралистов», ещё с новыми подстановками, — да далеко хватил словесным пируэтом, аж до «*Протоколов советских мудрецов*».

Это ж было из самых первых движений ГБ ещё до моей высылки — использовать против меня «антисемитизм», — и потом они настойчиво продвигали его через новую эмиграцию на Запад. Ещё от Синявского в интервью с Карлайл и вот дальше — какое напряжённое желание выпятить обвинение меня — именно в антисемитизме. Своих ли сил и разума им не хватает — всё

* Хмельницкий С. Из чрева китова. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле, № 48 (1986).

рвутся натравить на меня евреев, всё время кличут евреев разобратся наконец со мной.

И кто только ни упражнялся на моей спине, кто только ни писал разоблачительного открытого письма Солженицыну. Какой-то атеист Крутиков вызывает меня на публичный спор — доказать ему, вишь, бытие Бога, — катая письмо Солженицыну. — Пересмотрел, пересчитал Егидес, кто уже выступал в очередной раз за Сахарова и Боннэр, — а Солженицын как смеет в этот раз молчать? катая ему публичный пристыд! — И от неумного Белоцерковского окончательный приговор: «Вы своим молчанием поставили себя вне русского народа, вне сообщества людей, наделённых совестью, и, насколько я понимаю, вне христианства»!

И по какой же это демократии, и по какой же это совести: поносить человека не за то, что он сказал, а за то, чего он не сказал? тыкать писателю, почему он не сделал публичного заявления, желательного тому, этому, третьему диссиденту? Как они визгливы. Я защищал Сахарова, когда сам находился под топором, а на Западе тогда молчали. А когда за него уже выступили все президенты, все премьер-министры, все парламенты и Папа Римский — ну зачем, из полной безопасности, вам ещё голос этого расиста, шовиниста Солженицына, который всё сплошь понимает неверно и всё извращает?

А вот ныне Сахаров, слава Богу, возвращён в своё академическое сословие — так теперь мне дозволено вернуться в состав христианства и русского народа? или всё ещё нельзя?

И собаки облаяли, и ворёны ограили. Ну, какое, какое ещё рыло обо мне не судило?

...А вот — сатирик Войнович, «советский Рабле». В прошлом — сверкающее разоблачение соседа по квартире, оттягавшего у него половину клозета, — дулет! — сразу и отомстил и Золотой Фонд русской литературы. Теперь — отомстить Солженицыну. (Перед ним я, сверх того что существую, провинился тем, что как-то, на неуверенном старте его западной жизни, передал через друзей непрощенный совет: не пользоваться судом для решения его денежных претензий к эмигрантскому издательству, поладить как-нибудь без суда; он буквально взорвался, ответил бранью.) Отомстить — и снова же будет Бесмертное Создание русской литературы!

Впрочем, Войнович хотя и очень зол на меня, и это прорывается даже в прямых репликах, но он всё-таки не Флегон. Книга о будущем Советского Союза повторяет Оруэлла робко, и советский мир подан не смешно — но неплохо небрежность повествования в сочетании с динамичным сюжетом. А что касается меня (гвоздь замысла), то во вводной описательной части кое-где она и весела, забавно видеть своё смешное и в самой злой карикатуре, да вот недотяг: не нашлось у Войновича самостоятельной живой находки, покатыл всё в том же гремливом шарабане: что я страшно-ужасный вождь нависающего над миром русского национализма. В резких сатирических чертах обсмеяна наша замкнутая вермонтская жизнь, что ж, посмеёмся вместе, хотя обуродил меня за край. Что Войновичу удалось — это создать у читателей иллюзию, что он таки был у меня в Вермонте, *пишет с натуры*, — кто ж искуражится сочинять такое от копыт и до пёрышек? Ещё долго называли его «достоверным свидетелем» моей жизни в Вермонте. (А мы с ним — даже и не знакомы, не разговаривали никогда.) А что жаль: как топорно, без мастерства, Войнович подаёт утрированный высмеиваемый народный язык, тут его подвела злость, — а язык виноват ли, что сатирик не вошёл в его дух. И вовсе слабо, когда не в шутку сквозят претензии автора на собственный литературный размер.

А дальше теряет Войнович всякое юмористическое равновесие, приписывая своему ненавистному герою и истинное тайное сыновство от Николая II, и лелеемый сладкий замысел именно и стать царём — и конечно с самыми империалистическими побуждениями. Какая пошлость фантазии, какая мелкость души. — И через всякие уже сатирические пороги перешагивает в массовые расправы и казни. Книга эта вышла с высмеянным на обложке Георги-

ем Победоносцем на коне, а лицо — моё; такое, попав сейчас в Москву, хорошо поддаст образованской публике жару ненависти и страха, какой и без того там пылает.

А мне, озираясь посреди теснеющего хоровода, приходит на ум из А. К. Толстого:

Не мню, что я Лаокоон,
Во змей упершийся руками,
Но скромно зрю, что осаждён
Лишь дождевыми червяками.

Втемяшили себе, что я хочу захватить власть, — и вот уж годами ведут сплочённо-лилипутскую работу, чтобы я «не пришёл к власти», ибо хуже этого быть не может.

Печатных листов роится больше, чем может поглотить отдельный человек. Всего не перенять, что по воде плывёт. Да спасает меня моё счастливое внутреннее свойство: любое раздражение, самое сильное и внезапное, любые дрязги застревают во мне не больше, чем на час-два: автоматически гасятся внутри перевесом к работе, и я уже за письменным столом.

За 13 лет на Западе ответил одними «Плюралистами». Как раз от «Плюралистов» и заметил, что не испытываю никакого зложелательства и к самым яростным моим нападачкам и сержусь только, когда они шулерят подтасовками и подделками. Никакого к ним личного зла — и не от христианской заповеди «любите врагов ваших», а уже какое-то добро-равно-душие: не они бы — так другие, от набрёху не уйдёшь, они — в составе стихии. От возраста ли? — становишься безотзвен, какую там чушь про тебя несут.

Не вечно ж драться, и когти притупятся.

Глава 12

ТРЕВОГА СЕНАТА

Все поношения, какие на меня эти годы лились, были почти сплошь политические и очень редко — собственно литературные. И не только в эмиграции сложилось так, но и вообще в американской публичности. Переводы, особенно крупных книг, неизбежно сильно отстают — и как раз когда по-русски выходили в свет «Август Четырнадцатого», за ним вскоре «Октябрь Шестнадцатого», американские журналисты настаивали, что я давно ничего больше не пишу, исписался. Однако в литературном «Нью-Йоркере» в феврале 1986 была остроумная заметка: автор её в известнейшем книжном магазине Нью-Йорка вовсе не мог найти «Архипелага», ни тома, и продавец даже с удивлением переспросил: «А про что эта книга?», и от отделов «Мировая история» и «Текущие события» адресовал пойти в отдел «Фикшн» (беллетристики) — но не было и там, и никто из продавцов всё так же не знал. И оглядывает автор: «Никакой Дракон или Минотавр не страшней, чем враги, с которыми [Солженицын] сталкивается» у нас — прошёл войну, лагеря, рак, в бутылке закапывал в землю скрутки записей, освоил новое ремесло сокрытия рукописей, переснимал на микрофильмы, построил всю жизнь вокруг секретности, маскировался под равнодушие, потом как равный открыто боролся с государством, — и вот прибил к нашим берегам, и что же встретил тут? — «алчность, скуку, небрежность и равнодушие».

Ах, если бы равнодушие!.. Какой блаженный настал бы покой — для моей работы, для меня, для семьи.

По закону ли сгущения враждебных обстоятельств? — беда не приходит одна, известно, беды плодливы, — тем же летом 1984, когда вышла книга Скэммела, потянув на меня череду американской ругани, — тем же летом получили мы от Кублановского на прочтение большую, тогда ещё машинопис-

ную, статью Льва Лосева об «Августе Четырнадцатого». (Лев Лосев, из самого ядра ленинградской литературной среды, уже несколько лет профессорствовал в Дартмут-колледже, по соседству, жил в сорока милях от нас, впрочем, мы никогда не виделись и до того времени не переписывались.)

Мы с Алей прочли статью с двойственным чувством. Это была наконец попытка серьёзного художественного разбора, едва не первая такая, и мы подивились, как одинаково успешно критик пользовался и тем и другим концом «подзорной трубы»; предлагал читателю то наблюдать прошлые и будущие перспективы в исторический телескоп, то — расслышивать ассонансы и рассматривать аллитерации в фонетический микроскоп. Поискал жанровый прецедент «Красному Колесу» (справедливо отодвинув сравнение с «Войной и миром»); порассуждал содержательно о корнях моей прозы и о «факторе качества»; верно воспринял, что язык мой — и не искусственен и не придуман, а просто: «Солженицын не даёт русскому языку лениться под своим пером». Тут же и странные промахи взгляда: глава о Николае II — «сатирическая повесть, памфлет» (ну никак!); и — «сатирическая же новелла о Ленине» (тут нескромно полагаю, что копнул поглубже); и, опять и он: будто я поэимствовал «много из опыта „Петербурга“» Белого (которого я и по сей день не раскрывал), — это как бы профессиональные ошибки предвзятого разгона, некоторых общепринятых суждений. Лосев называет себя учеником Бахтина, но и не без ухромов во фрейдизм: будто бы в Богрове «ущемлённое я» ищет компенсации, «стремится быть в центре внимания» (и до чего ж этот фрейдизм всё упрощает однообразно). Отметил Лосев и немонолитную композицию двухтомного «Августа» (это правда, он строился не в один приём).

Пространно, пристально, заходя с разных сторон, разбирает «противопоставление: Богров — Столыпин». Признаёт, что версия убийства Столыпина разработана с «доскональностью и с тем почти гипертрофированным почтением, которое свойственно обращению [автора] с историческими материалами». Что Богров сам «называл в числе своих побуждений месть правительству за еврейские погромы» («я боролся за благо и счастье еврейского народа», истинные предсмертные слова Богрова). Дальше увлекается разработкой образа: что Богров, хотя ни разу не употреблено автором слово «змея» — а подан как бы в образе змеи (лишь единожды: «змеилась спина убегающего»). Но и тут же себе возражает: «Эко дело, змея — расхожий нарицательный образ, ругательство». Но нет, изощрённость или страсть проницателя несут его к структурным обобщениям: «Отчётливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла, Света и Тьмы, Креста и Змия» — далеко же хватанул! И летит дальше: «В образе змеи, смертельно ужалившей славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель с „Протоколами сионских мудрецов“», — да к чему ж плести «Протоколы», если их тут ни сном ни духом нет, и Богров действует совсем не как участник заговора? Впрочем — «за антисемитское прочтение его книги Солженицын несёт не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку „Венецианского купца“». И повествование многопланово: за историческим планом открывается философский, за политическим — антропологический. «В глубине глубин речь идёт уже не о Богрове и Столыпине, не о революционерах и реформаторах, не о русских и евреях, а об экзистенциальном конфликте, заложенном в самое человеческую природу... здесь взбесившийся „чистый разум“ нападает на „органическое начало“». — И Лосев заканчивает со смесью печальной иронии и малой надежды, объясняющей название статьи*: «Судя по его могучему началу, „Красное Колесо“ — это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу — тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно».

* Лосев Лев. Великолепное будущее России. Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына. — «Континент», № 42 (1984), стр. 289 — 320.

Может быть, какой-нибудь отзыв в эмигрантской прессе эта статья бы и вызвала, но уж конечно не составила бы этапа в *событиях*, если бы Лосев, будучи на летних каникулах в Европе, не спрессовал бы статью (ещё и неопубликованную!) в радиопередачу и не прочитал бы по «Свободе» своим голосом вот это всё, и о «Протоколах», — подсоветским слушателям.

И получилось? — что радиостанция «Свобода» (на деньги американских налогоплательщиков), дескать, передаёт в СССР — «сочувствие к „Протоколам сионских мудрецов“»?..

На первый взгляд, это последнее действие, передача по радио, не более крупный шаг, чем в увлечении шагнул Лосев от простой расхожей змеи — к библейскому «Змию» и к «Протоколам». Но не тут-то было, — и надо бы скорей удивиться, если бы искажающий гнев не возгорелся тут же.

Он всплеснулся за несколько дней в двух докладных на имя президента соединённых американских радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» Джеймса Бакли — одна («Откровенно антисемитская передача») подписана была Львом Ройтманом из Русской Службы «Свободы», вторая (куда длиннее) — Белоцерковским, из той же Службы.

У первого: «Независимо от книги Солженицына, изображение террориста и его жертвы в этой передаче радио „Свобода“ выходит за рамки „интеллектуального“ антисемитизма и представляет собой разновидность расистского, биологического отношения к евреям... является оскорблением слушателей и служащих [радиостанции]». И предлагал докладист: послать запись этой передачи сенаторам и конгрессменам США, «чтобы уточнить, предназначены ли ассигнования, получаемые Радиостанцией, для передач такого рода» — серьёзная постановка, сразу хватать директора за бюджет.

Утки в дудки, тараканы в барабаны! Второй сигналист, по обычной своей надрывности, катал так: «Эта передача представляет собой пропаганду крайнего антисемитизма и является дополнением к антисемитской пропаганде КПСС и КГБ, которая ещё не решается цитировать „Протоколы сионских мудрецов“, любимую книгу Гитлера». Вот так, всех в один мешок. И вот, мол, «упоминание, что „Протоколы“ — гнусная антисемитская фальшивка» — это просто «циничная уловка», поскольку цитата «согласуется с главной мыслью передачи, что Богров олицетворяет „иудейского Змия“». Ну, и вдобавок о Столыпине: что он был «разрушитель эволюционного развития страны» (когда он только его и налаживал), и, мол, такая хвалебная передача о Столыпине дискредитирует радио в глазах кого бы вы думали? — «патриотов России!» — а о них-то главная забота и боль доносчика.

И ещё была какая-то третья докладная «свободинца» Итцелева (я её не видел).

Какой же вулкан извергся! Ну, нагородил Лосев! Передал такое по эфиру (при невразумительном содействии Ю. Шлиппе, а тот столько лет на «Свободе» — неужели ж не понимал? и почему-то его ни одна шишка не коснулась) — поехал к себе домой в Новую Англию — и тут же получил официальный запрос от радио «Свободы»: *как это всё объяснить??*

Подскочишь на сковородке! Если облепят, что ты заядлый, «биологический» антисемит — не посидишь уютно в американском университете. Написал Лосев серьёзную объяснительную записку. В ней он справедливо открывал, что негодующая атака на самом деле направлена не против него, а против Солженицына, но опять же, в духе своеобразного построения, приписывал «мифологический образ Змия», «древнего гада» — «образной системе Солженицына». «Я легко могу себе представить, как тот же самый мой анализ богровских глав вызвал бы рукоплескания [Ройтмана и Белоцерковского], если бы... я написал: вот, смотрите, люди добрые, какой Солженицын нехороший антисемит, как он нас, евреев, ненавидит! Но, что поделаешь, мне моё национальное происхождение глаза не застит — ни сложность истории, ни сложность искусства

я упрощать не собираюсь». Заступился за Столыпина, обстоятельно и достойно, и кончил опасением, что хотят «поставить глушилки между Солженицыным и слушателями в Союзе».

Когда это всё происходило и Лосев прислал нам копии бумаг, мы с Алеей пожалели — его: что ж ему, правда, при добрых намерениях — да расплачиваться теперь? Но всё только начиналось, мы недооценили, во что может вылиться лосевская трактовка «Августа», мы всё ещё не допредставили себе всю хоровую отзывчивость американской прессы на болезненные пункты, а острее всего и раньше всего — на «антисемитизм». Да поначалу всё, казалось, и затихло, в ближайшие месяцы как будто ничего не происходило. А видимо, не сразу Ройтман и Белоцерковский нашли точные адреса, сперва дёргали верёвки не туда, наконец — и куда надо. И результат их усилий обозначился в январе 1985 — громкой и слаженной канонадой.

У американских журналов есть странный обычай помечать не реальный день выхода, а недели на две и даже три — вперёд (они же все рвутся «вперёд», кто раньше, кто исхитрится обогнать Божье время). Поэтому бывает трудно установить реальный день выхода журнальных статей — но всё же, очевидно, первенство надо отдать журналу «Нью рипаблик»: 22 января (под пометкой 4 февраля) он напечатал: «Является ли американское вещание на Советский Союз антисемитским? Как это ни невероятно, ответ может быть — да... Диктор радиостанции описал Богрова как „космополита“, не имеющего „ничего русского ни в крови, ни в характере“... противопоставил Богрова, сатанинского „Змия“, — Столыпину, „славянскому рыцарю“... было сказано, что акт Богрова был „выстрел в саму русскую нацию“... подразумеваемая мысль: евреи ответственны за большевизм. И ведь даже советская официальная антисемитская пропаганда не дошла ещё до цитирования „Сионских Протоколов“». А мы?? Вывод: «Радио „Свобода“ попало под влияние русских эмигрантских фанатиков... Администрация Рейгана назначила директором станции эмигранта Джорджа Бейли... а он принял на службу группу русских эмигрантов-радиовещателей, разделяющих взгляды Солженицына».

И тут же, на другой день, 23 января высунулась напрягающаяся в засаде «Нью-Йорк дейли ньюс», видимо заранее подготовленная: «Антисемитизм, за который налоги уплачены!» Автор статьи, Ларс-Эрик Нельсон, весьма беспокойно закричал в американские уши: «Известно ли вам, что доллары, которыми вы уплачиваете налоги, используются для того, чтобы передавать в Россию антисемитские радиовещания?» Оказывается, уже и «сенатские законодатели подтвердили», что «радио „Свобода“ часто стоит за царизм... неоднократно передавало русскому народу антисемитские комментарии, чаще под видом религиозных или исторических анализов». (Надо при этом знать, до чего на самой «Свободе» всё накалено и против прежней России, и против русского сознания.) «Самый яркий пример... назвали Мордку Богрова „космополитом“ (по сталинскому жаргону — еврей)... затем цитировали „Сионские Протоколы“ и будто Богров начал цепь событий, приведших к большевицкой революции. А ведь „средний русский почти как правило антисемит“, сказал крупный [неназванный] американский дипломат». И вот — радиостанция лицемерно хочет этому «среднему русскому» угодить. И «русские ворчат, что Ленин был еврей со стороны матери, а уж Троцкий определённно еврей». Антисемитизм станции, всё же помягчает газета, не предумышленная политика, но «результат слабого контроля США над разношерстным сборищем русских эмигрантов»: в 1-й эмиграции были и монархисты, во 2-й — тоже «истово православные», 3-я, правда, главным образом евреи и либералы. А Бейли ещё и в том виноват, что увеличил религиозное радиовещание.

А на Западе не зевай! Если тебя обляяли в прессе — надо, чтоб уже в следующем номере было твоё опровержение (как и в Советском Союзе — твоё покаяние). И Джеймс Бакли, бывший республиканский сенатор от Нью-Йорка, а ныне глава Соединённых Радиостанций, шлёт в «Дейли ньюс» — сразу вслед: это злостная клевета! на радиостанции — сильнейшие меры предосторо-

рожности, из 5000 часов передач только и проскользнула вот эта десятиминутная, да и то написанная евреем.

Но Бакли коротко ответил, ещё не охватил, наверно, насколько глубока и серьёзна атака.

В том же номере «Нью-Йорк дейли ньюс» Нельсон в ответ привёл заранее подготовленный кем-то список: где, когда за 1984 год «Свобода» допустила противоеврейские обмолвки: вот, например, серию погромов 1919—20 годов объясняли тем, что много евреев присоединилось к большевикам; а в религиозной передаче сказано, что старозаветные иудеи пытались подорвать веру в Воскресение Христа, пустив слух, что ученики выкрали тело (точно по Евангелию от Матфея). А однажды превозносился генерал Врангель, — а он *известно же*, что был погромщик. (Ни одного погрома в его Крыму!) И — как это всё может быть? Ясно, что «станция подпала под эффективный контроль русских эмигрантов правого крыла» (которых, забитых, там и 3% нет).

А как же обвинения «Нью рипаблик»? И тут не зевай, спеши оправдываться! И Фрэнк Шекспир, и Бен Ваттенберг, старшее начальство над «Свободой», в следующем номере журнала опровергали: да, передавались выдержки из «Августа Четырнадцатого», но ещё надо выяснять (и — будут, будут выяснять!), были ли они антисемитскими. И Бейли — вовсе не эмигрант, а американец. И многие из новоназначенных им ключевых служащих — евреи. И «значительную часть в нашей программе [„русская служба”] составляет радиовещание, ориентирующееся на еврейство». И «под нашим руководством ведётся строжайший контроль, чтобы эффективно предотвратить какие-либо возможные антисемитские заявления... Мы проверяем наше вещание более тщательно, чем любая радиостанция в мире». (Важное заявление, к сведенью.) Но с каких пор «Нью рипаблик» стоит за *цензуру*? Можно соглашаться или не соглашаться с мыслями Солженицына о демократии, но мы не можем игнорировать их. Мы и впредь намерены передавать «спектр ответственных взглядов».

Тут же, конечно, и ответ журнала. Цензура не цензура — но раз вы не передаёте прокоммунистических взглядов (впрочем, как сказать, и передают порой...), то и антисемитских не передавайте. Да вот, цитируют, тут же вослед лосевской передаче Дж. Бакли, начальник над Дж. Бейли, сказал, что он «в ужасе», что «несмотря на заседания, в которых мы подчёркивали... обращать внимание на чувствительность, вызываемую, когда речь идёт о евреях и иудаизме...» (И потребовал, чтобы *каждый* текст, в котором упоминается слово «еврей», представлялся бы ему на проверку.)

И — управились выгнать Бейли, всего через месяц после начала газетной атаки. Нет, не скажите, что западные газеты слабомощней советских. Кроме Бейли сняли ещё кого-то двух с ответственных постов, — и при «засилии эмигрантов правого крыла» — заткнули даже имя моё на «Свободе», и так основательно, как до сих пор затыкали только в СССР. Перед тем намечалась на «Свободе» серия передач по «Августу» — эквивалентно заменили меня повторением передач по В. Гроссману, в этом — уж их никто не упрекнёт, только похвалят. (Но с поразительной инерцией американской журналистики, тупоумием вполне советским, «Форин полиси» и ещё годом позже не устало твердить, что радиостанция «Свобода» есть рупор моих «антисемитских и антидемократических идей».)

Угодило зёрнышко промеж двух...

Однако чертопляска в американской прессе лишь начиналась. Тут же с другого края континента, — как молния, Тревога пересекла и континент, — перебудоражилась «Лос-Анджелес таймс»: «Радио выбрало такие фразы, которые традиционно используются русскими антисемитами и даже цитировало „Протоколы Сионских Мудрецов”», — так «необходим пристальный надзор за русскими и другими беженцами из советского блока... чтобы передачи их были последовательны в утверждении американских ценностей и целей».

Но это всё — радиостанции в Европе на американских деньгах, — а вот как быть с *самим* этим Солженицыным? Что это за баламученье об убийстве

70-летней давности какого-то русского премьера? И как произнести уверенное суждение, когда книга ещё не вышла по-английски? А главное, спохватились, уже несколько месяцев (малыми недельными дозами) официальный американский «Голос Америки» в свой литературный полчас передаёт и передаёт в Советский Союз как раз всю историю этого убийства! И по удивительному же совпадению, нарочно не придумаешь: первая передача столыпинского цикла по «Голосу Америки» была 16 августа, а лосевская передача на «Свободе» — 19 августа, вполне независимо — но как будто чёртом состроено, чтобы подшибить цикл столыпинских глав. И — сразу, сразу взялись и за «Голосом»: Караул! Держи!

Залп по мне последовал тут же — в «Вашингтон пост», второй по влиятельности газете Америки (4 февраля 1985): «Роман Солженицына, транслируемый „Голосом Америки“, вызывает тревогу. Части „Августа 1914“ рассматриваются как тонко [неуловимо] антисемитские» (в этой „тонкости“ пока оставлен простор для манёвра, лапу можно и отдёрнуть). Зато газета опросила «свидетелей»: Ричарда Пайпса, моего и принципиального и личного ненавистника (о выстреле Богрова «Солженицын не говорит ничего прямо антисемитского, но русским читателям ясно, что он обвиняет евреев в революции: Столыпин хорош для России и потому плох для евреев» — ??); и вдову Проффера Эллендею, она теперь, видно, на много лет станет из ведущих экспертов по России («Солженицын скажет, что он — не против евреев, он только за русских, но это — тот огромный русский национализм, которому если дать волю...»); и ещё же, ещё же американские историки, повторяющие с важностью ленинскую оценку Столыпина и что «Богров действовал как агент охраны», — ну кто, кто на свете лучше них понимает русскую историю? (Так как книги по-английски нет, то газета заказывала профессору Джону Глэду специально перевести все подозрительные на антисемитизм места — и только их, только их, конечно! — и вынуждена была упомянуть, что он «не нашёл никаких оснований обвинять Солженицына в антисемитизме».) От себя же газета считает, что раз «эти пули уже убили династию в 1911», то Солженицын фактически приписывает победу коммунистов — Богрову.

Было бы шлёпнуто первое клеймо! — а уже на другой день «Бостон глоб» (да не одна она по Америке, за всеми не уследишь) охотно подхватила — перепечатала половину той же статьи, но заголовочек подменила: «Новому „Августу 1914“ приписывается антисемитский тон» (уже без «тонко, неуловимо») — и цитата из Пайпса вырвана крупнейшими буквами.

В те дни я, без остатка втянутый в свою работу, проскользнул по этим статьям, как спросонья, загорающаяся склака не растолкала меня.

Но — каково Роджеру Страусу, будущему издателю «Августа» в Штатах? — ведь и он теперь как обвинённый! — да когда нечем отбиваться, ведь Виллетс тянет, тянет, перевод не готов. Немедленно и отважно Страус отправил опровержение в «Вашингтон пост»: «тонко-антисемитские пассажи в „Августе“? — полностью несправедливые и ложные предположения. И это всем станет очевидно, как только вот Гарри Виллетс в следующем году кончит перевод». Газета — не напечатала ответа. Страус послал для сведения Клоду Дюрану — а копию мне. Вот — и помолчи: как я могу не ответить своему издателю? Я написал ему:

«До сих пор только в коммунистических странах существовали такие приёмы: 1) вешать публичные обвинения на книги, которых никто не читал и не имел возможности прочесть; 2) клеить грубые политические ярлыки на сложные художественные произведения. Теперь своей статьёй от 4 февраля „Вашингтон пост“ переносит этот замечательный обычай в Соединённые Штаты, можно поздравить газету. Поразительно, на каком примитивном уровне они строят свои обвинения. Статья содержит и невежественные ошибки, выявляя незнание истории, — например, написали, что Столыпин был... министр иностранных дел и при нём — тогда почему „при нём“? — еврейские погромы, а их как раз и не было при нём».

Конечно, я мог вот так ответить и публично — но я решительно не был настроен вступать в дискуссию с американскими газетами.

Однако же — и не изолируешься вполне. Наш знакомец по темплтоновской поездке Джон Трейн попросил указать ему в «Августе» места, которые помогли бы опровергнуть «тонко антисемитский» ярлык.

И тоже неудобно не отозваться. Садится за ответ Аля: «Август» вышел год назад по-французски — и во Франции никто не вскричал «антисемитизм». А здесь — кто опровергнет, если книга ещё не доступна читателям? Что за цепь доводов? — раз Богров был еврей, а смерть Столыпина — несчастье для России, облегчившее революцию, — *значит* Солженицын обвиняет евреев в революции 1917 года? Фактически — требуют цензурировать историю. Но «писатель не может унижать себя и свои книги до оправданий перед журналистами, даже не читавшими этих книг, и перед советскими эмигрантами с весьма сомнительной биографией», — отчеканила Аля.

Тут — у нас с Алей было расхождение: я вообще не хотел никому в Америке отвечать и ни в чём оправдываться. Бранят — не в мешок валят. Но Аля — гораздо чутче, нервной переживала эту атаку — и теперь составляла для Трейна ещё и приложение — с копией моего ответа Страусу, с анализом передачи Лосева и науськанья докладных, и как Пайпс игнорирует источники, и как лгут о Столыпине.

Это воистину поразительно: и через 74 года после убийства Столыпина — правда о нём невыносима «свободной» прессе!

Итак, стали в Америке обсуждать книгу раньше её появления.

А у нас-то с Алей в эти недели был шок другой, не от западной прессы: 4 февраля началась в Штатах долгая атака о моём антисемитизме, а 19 февраля в СССР, где уже годами, кажется, не упоминали моего имени, — показали по телевидению (а до того на многих киноэкранах) фильм-агитку «Заговор против Советского Союза», с гнусной атакой и на меня, и на Русский Общественный Фонд, и мы «агенты ЦРУ», — заводка жернова у них многолетняя. Две мировых силы — единовременно, сплющивая меня!!

Вот это и есть: промеж двух жерновов. Смолоть до конца!

А в Нью-Йорке тоже уже, видно, не одну неделю и не месяц бурлил «интеллектуальный котёл», прежде чем вот прорвался. В результате этого бурления консерватор Подгорец, многолетний редактор правого еврейского журнала «Комментари», в этом же феврале напечатал свою большую статью «Ужасный вопрос Александра Солженицына». Но до этого вопроса читатель доберётся нескоро. Подгорец прежде был литературным критиком (потом, однако, перешёл в политическую публицистику). И теперь он, пространно пересказав для желающих мою литературную судьбу, попутно нахвалив книгу Скэммела, присуживает: что «Иван Денисович» не был художественным произведением и «впечатление от повести ослаблено» тем, что Иван Денисович не ведёт интеллектуальной жизни (точно такое раздавалось и от московской образованщины); ну, ещё как-то можно понять восторги русских читателей при скудости советской литературы; а романы — «Круг», «Раковый корпус», «Август» — «мертвы на каждой странице, в них нет дыхания жизни»; зато «Архипелаг ГУЛАг» и «Бодался телёнок с дубом» — «две величайшие книги нашего века» (тут Подгорец перечит хору американских рецензентов, обругавших «Телёнка») и «в трёх томах „Архипелага“ столько жизненной силы, что она буквально сбивает с ног».

И только в конце статьи он придвигается к злободневному, пылающему: так — антисемит или нет? Сам не берётся судить, поскольку книги по-английски нет, а говорят — разно. Однако вот что думает: «по моим впечатлениям, основанным на чтении всего, что было переведено на английский язык... упрё-

ки в антисемитизме построены почти исключительно на отрицательных аргументах: то есть у Солженицына нигде не встретишь неприязни к евреям, но и не слишком много симпатии к ним...» Но всё же «тревожным фактором остаётся потенциальный антисемитизм». И в этом — «ужасный вопрос Солженицына»? Нет, оказывается, и не в этом, Подгорец утверждает на своём правом фланге: Солженицын «атакует Запад за потерю гражданского мужества, за дух Мюнхена, за противопоставление уступок и улыбок оскалу варварства... За это, а не за предполагаемый антисемитизм хотят либеральные критики расправиться с Солженицыным». И вот «ужасный вопрос»: неужели нам нужна его смелость, чтобы избежать судьбы, грозящей нам от коммунизма? «Цепляясь за его антидемократичность или славянофильство как за предлог, чтобы не отвечать на вопрос, поставленный всей его жизнью, мы только подтвердим правильность обвинений в том, что мы — трусы, и приблизимся к страшной яме, из которой вырвался Солженицын, чтобы напомнить о замученных миллионах и спасти живых». — Сознательно или нет, Подгорец повернул «Ужасный Вопрос» совсем не так, как он стучит и бьётся в сердца американской образованщины.

Подгорец явно ошибся в построении статьи: он слишком долго добирался до своего «ужасного вопроса», так что последнему и места не осталось, и мало кто ухватил — в чём же он состоит, только отвлёк в сторону. Почта на статью была гораздо ещё объёмней того, что напечатано в следующих номерах журнала. Писали, что Подгорец «зачёркивает тысячи страниц прозы, не делая ни одного конкретного критического замечания», не привёл примеров, и теперь не соглашались даже те, кто с ним «всегда соглашались», спорили о романах, о Костоглодове; спрашивали: «может быть, в литературном анализе нет таких категорий, как правда и неправда, добро и зло? как иначе можно совместить уважение к Подгорецу с переживанием огромного эстетического наслаждения и нравственного долга, которые мы испытываем, читая книги Солженицына?» — А ещё ж и Скэммел был без надобности привлечён к этой статье — так и о Скэммеле: нельзя так «слишком уважать биографии». Тут же, на именины, выскочил и сам Скэммел: он рад, что стал причиной появления такой великолепной статьи Подгореца, но спешит заверить, что и он, биограф, не ставит Солженицына как романиста высоко, его неправильно поняли, его оценка мало отличается от подгорецовой, — ошибка оттого, что Скэммел, задавленный уникальным биографическим материалом, недостаточно занялся художественным разбором Солженицына, как собирався, а то бы, а то бы он всё ясно выразил! Но впрочем нельзя не признать, что у Солженицына и кроме «Архипелага» есть кое-что, кое-что ценное... — А от читателей лилось: «Дискуссия о Солженицыне шире и ожесточённее, чем о любом другом писателе, оттого что он — единственный голос, слышный и понятный всем». — Солженицын «загнал щуп туда, где болит сильнее всего: он исследует вопрос о том, во что обходятся простым людям идеи, идеологии и социальные системы интеллектуалов». — А кто-то лишь благодарил, благодарил Подгореца, что ничего лучшего в жизни не читал, чем эта статья, и редко кто мог бы написать о Солженицыне так авторитетно.

И «ужасный вопрос», как его задал Подгорец, почти вовсе потерялся, а кем и был подхвачен «ужасный», то понят как: антисемит Солженицын или нет? И одни вспоминали арестантов-сионистов из «Архипелага» и уважение к опыту Израиля, — нет, не антисемит. Другие: что антисемитизм Солженицына «скорее безотчётный». Третьи: что евреи были самыми многочисленными и активными строителями коммунизма в России, отрицать это бесполезно, и фундаментально ошибочно «выступать против предполагаемой антисемитской окраски, которая то ли есть, то ли нет в книгах Солженицына», говорящего нам о «радикальной враждебности коммунизма всему человечеству». Четвёртые: что у Солженицына уже Парвус — был грубая карикатура, а программа Солженицына — установить тоталитаризм православия, «и можем ли мы как люди и как евреи остаться безразличными к его тёмным целям в отношении

России? ведь в России пленниками томятся два миллиона евреев», идеология же марксизма «по крайней мере сдерживала антисемитизм местного населения».

Подгорец, заключая: я не упомяну текста, который породил бы такую бурю писем, как моя статья, но «вопрос, вызвавший реакцию столь страстную и в то же время серьёзную, — редкостная комбинация для журнальной колонки писем, — вопрос этот — не мой очерк о Солженицыне, но сам Солженицын»; и, подводя итоги дискуссии о романах, демократии и славянофильстве, сам уже сбивается: «и наконец ужасный вопрос об антисемитизме». Всё же — «с моей точки зрения горечь Солженицына, что революционеры-евреи сыграли такую роль во внесении коммунизма в Россию, имеет гораздо меньше значения, чем его последовательная горячая поддержка Израиля».

Всем тем Подгорец скорее страсти сдержал.

Но эта дискуссия проявилась лишь к лету 1985, а мартовские события развивались куда быстрее. Снова раздался пронзительный верезг Белоцерковского. Сколько ещё за минувшие месяцы он написал служебных доносов — нам неизвестно, они не опубликованы, но вот, отрываясь и от своего фундаментального труда об угрозе «русской и военной партии» — он ещё подпалил травлю в содружестве с одиозным американским журналом «Нейшн» (прожжённо-просоветским).

Обгоняя на неделю публикацию самой статьи Белоцерковского, «Нейшн» выпустила предваряющую сводку её содержания — и разослала всей американской прессе:

что Солженицын овладел сетью вещающих на русском языке радиостанций (таких всего в мире 4-5, и — откуда американцам знать? — очевидно, всеми и овладел)! и сетью прессы! и сетью издательств! *монополизировал* всё, что передаётся русскому народу через средства западной информации на русском языке!! Растёт влияние лагеря Солженицына! (только лагеря самого нет) — а «демократические группы испытывают недостаток финансовых средств». Но главная новость: демократический сенатор Пелл уже распорядился начать расследование! «Конгресс стал задумываться».

Стал задумываться... Внимание!

Чья б эта «Нейшн» ни была — а сенатское колесо уже закрутилось!

Белоцерковского тут же подхватил и Аптекаер, главный теоретик американских коммунистов, в их «Дейли уорлд» (которая и в московских киосках продаётся): «банда Солженицына в фаворе у Рейгана», и это — те самые, те самые русские ультранационалисты, фашистские подонки, которых финансировал Гитлер и ставил гауляйтерами Украины и Белоруссии...

А наперебой и «Вашингтон пост», в ней ещё одна статья: «Тревога в эфире»: в передачах, которые правительство США передаёт в Советский Союз, — «след антисемитизма», о том *много* жалоб и на «Свободу», и на «Голос Америки», передающий роман Солженицына. (Вот влипли, бедняги, с моим «Августом», и всего-то им со столыпинским циклом осталось немного, дотянуть бы! Отбивались, как могли...)

А «Бостон глоб» рвалась и безоглядной: «в конфликте господствует *апокалиптическая фигура* Солженицына... Гарвардский профессор Маршалл Голдман спрашивает, не плывёт ли эта игра прямо в руки советских властей?..», администрации Рейгана привлекательно опираться не на продемократическую нынешнюю еврейскую эмиграцию из СССР, но (хороший момент копнуть под Рейгана) на великорусских националистов-монархистов и на беженцев Второй Мировой войны с их твёрдым антикоммунизмом. И хотя чиновник из окружения Бакли оправдывается, что советские евреи — самая многочисленная и энтузиастическая аудитория «Свободы», а вот никогда от них не поступало отрицательных отзывов на передачи Солженицына, — нет! необходимо сенатское расследование!!

Бам-ба-бам!! Из пушки по «голосам»!

И вот что, вот что: необходимо восстановить строгий *предконтроль* радиопередач! И «по реакции на передачу о Столыпине кажется ясным, что Солженицын теперь нес скоро будет передан по радио „Свобода”». (Вот это — точно, это наверняка.)

И не найдётся им в ответ образумляющего американского же голоса.

Эта кампания быстро родила отклик и в Англии. «Ивнинг стандарт» (куда корреспондирует Виктор Луи) подхватила в тех же днях, повторяя этот приговор «Бостон глоб» и Ричарда Пайпса: Солженицын «считает себя некоронованным главой России, не захотел приехать на завтрак к Президенту, а книги его отличаются скрытым антисемитизмом»; и Маршалла Голдмана: «растёт антипатия американцев к Солженицыну, и он может отправиться жить в Европу». (Сама газетная кампания и родила слух, что я уже бегу во Францию.) И наконец — вот, вот, в неделях — «сенатский комитет присоединится к анти-солженицынской артиллерии, в слушаньях несомненно будет говориться об антисемитизме Солженицына»!

Да, да! Тревога клубилась, Тревога дымилась — и не могла не воспарить к мраморным колоннам самого Капитолия! (А надо сказать: американских сенаторов-конгрессменов мёдом не корми, только поручи им какое-нибудь *Расследование*, дай им в возвышенных ложах перед микрофонами сидеть со строго сдвинутыми бровями и выказывать свой превосходящий ум и необыкновенную пронизательность.)

И вот, 29 марта 1985 созываются Слушания — не какой-нибудь малой комиссии, не подкомитета, нет — но Комитета по иностранным делам Сената Соединённых Штатов! Душа тех Слушаний — из ведущих демократов Соединённых Штатов почтенный Клейборн Пелл, джентльмен из штата Род-Айленд. Это высокое заседание должно, наконец, расследовать Загадку, каким образом проверенная — и сугубо, и треко подконтрольная — американская радиостанция могла так необузданно вкинуться в пучину антисемитизма — и как этот наглый Солженицын умудрился использовать американские деньги на пропаганду, враждебную Америке? (И вот передо мной лежит 140 страниц стенограммы высокого заседания — и это наговорили всего за один день, а пусти их на неделю!)

Да недоверие к радиостанции «Свобода» уже и перед тем накапливалось, особенно после того, как Станция запросила у Конгресса добавочной субсидии в 77 миллионов долларов. Тогда же сенатор Пелл послал на Станцию ревизию из Главного Контрольного Управления Соединённых Штатов, а заодно, по компетентному совместительству, поручил тем бухгалтерам проверить, сколько и какие были допущены на Станции «нарушения политического курса». Коридорными ли опросами сотрудников или ещё как, бухгалтеры, видимо, добыли неутешительные, если не удручающие сведения. И вот этот результат грозно навис над Слушанием, хотя, естественно, вице-председатель Совета Иностранного Радиовещания (ВІВ) Бен Ваттенберг теперь пытался так озвучить негодную защиту: «Когда ревизию проводят бухгалтеры, а не журналисты или учёные... то из их цифр всегда можно устроить игру. А что касается Солженицына — то как нам не допускать его на наши передачи, если его слова печатаются на первой странице „Нью-Йорк таймс” или с них начинаются новости интернациональной службы Би-би-си?»

Директор Соединённых Станций Джеймс Бакли заверял сенаторов, что, в частности, «к предметам, представляющим особый интерес для еврейского слушателя», на Станции «за последние три года наблюдается существенный рост внимания».

Как? А цитирование Солженицына?

Вслед за Ваттенбергом также и Фрэнк Шекспир, председатель ВІВ, оправдывался, что — да, «Солженицын — фигура, вызывающая большие споры, — но он также фигура огромного значения. Нам указывали, что мы не должны передавать Солженицына, поскольку он слишком сильно критикует Соеди-

нённые Штаты и вообще Запад. Но как быть, если половина политических деятелей в Америке тоже отмечают, как и он, что западные демократии потеряли присутствие духа? И если мы хотим вести дело, заслуживающее доверия, мы должны дословно передавать слова человека такого масштаба, как Солженицын». А устав Станции остаётся весьма строгим, весьма. Например, чтобы не раздражать советских слушателей, запрещено сравнивать «капитализм и коммунизм» в общем смысле; в применении к Восточной Европе запрещено употреблять выражения «коммунистические страны-сателлиты», так что, довольно язвительно добавил Шекспир, — «если бы Президент Рейган был комментатором у нас в эфире, то он бы очень часто нарушал наш устав».

А в данном случае, бесстрашно обнажал Шекспир, в данном-то случае под видом спора о принципах «возникает масса эмоций, вращающихся вокруг одного человека, Александра Солженицына».

Увы, это так и было. Вопрос спутался, смялся: где же, правда, демократия? где свобода критики? Да ещё этот чёртов никем не читанный роман, об антисемитичности которого почтенным сенаторам приходилось бы иметь суждение?

Облизнулся сенатор Пелл, свернули Слушанья после одного дня, убрали стенограмму.

Обмашка у них вышла. (Убедились: весь ураган — из доносного переполоха.)

Из сопровождающих газетных статей тех дней, по поводу Слушаний, видим, что и сам Ваттенберг — еврей, и евреи же — в большинстве сотрудников «Свободы», да ведь, опять же: «русские евреи — наиболее восприимчивые слушатели радиостанции „Свобода“». И снова та же «Вашингтон пост» заключала: пусть программа той злополучной передачи не была явно антисемитской, пусть даже она была исторически верной, — но «были нарушены руководящие правила не передавать возбуждающих программ», «зачем передавать в СССР программу, которую советские слушатели *могут* счесть антисемитской?» Значит, о Богrove передавать вовсе не надо. «Некоторые исторические программы могут быть уместны для слушателей американских» (они ведь как развиты у нас!), «но не для слушателей, со дня рождения питающихся советской пропагандой» (им — уже ничего серьёзного не надо). Нет, нет — усилить, усилить просмотр программ *до* передачи!

Итак, да здравствует Предварительная Цензура в Соединённых Штатах!..

Вот столькое раскрутилось из случайной непредсказуемой передачи Лосева. Может и хорошо, что он бросил им такую кость: все кинулись и выразительно себя показали. Да нет, затеялся бы этот пустополох не так, так иначе.

Но Тревога, но взмученная Тревога уже не могла улечься так быстро, ей предстояло расходиться мельчающими кругами.

Даже вся третьеземгрантская пресса, так враждебная ко мне, уже отказывалась печатать шныря Белоцерковского, — но напрытчился он найти в Лос-Анджелесе ново-недавнюю «Панораму» — и дальше лил через неё. Жирный заголовок: «Солженицын — „пятая колонна“ советской пропаганды!» Вот, оказывается, на кого я служу: на ЦК КПСС! — В статье ничего нового, перефразировал то же, что в «Нейшн», но сформулировал острей. — Да! советские власти никогда ещё не имели такого сильного пропагандистского аппарата, как сейчас: в их распоряжении «Солженицын с его приверженцами» — а финансируют Соединённые Штаты! (Какая соединённая сила!!) Западные средства массовой информации на русском языке — отданы для пораженческой пропаганды Солженицына! Оттого и затянулась пассивность советского общества в его оппозиции тоталитаризму. Ведь когда советские люди слушают охаивание Запада от своих советских пропагандистов — они не верят (это — да, как не верил и я, живя в СССР), а когда критику Запада услышат от Солженицына — задумаются. (Это бы — хорошо! Я — и не хочу, чтобы наши стадом бездумно потопали по западной дороге стопа в стопу, пусть думают, как ступать.) И великодушно: «я уже не буду здесь говорить об антисемитской пропаганде Солженицына» (это отложим на ближайшее будущее), но: на Западе «создан вокруг Солженицына настоящий сталинский культ личности... его велича-

ют по имени-отчеству!.. и при виде такого могущества „Пророка” всё новые и новые эмигранты из СССР присоединяются...» Наконец дело зашло так далеко и худо, что «для исправления положения необходимы чрезвычайные меры». И ещё отдельным заголовком: **Необходимы чрезвычайные меры.**

Всё-таки и в той же перекошенной «Панораме» зазвучали перечасные, а то и насмешливые голоса, протестовали и многие евреи. — «Запишите! Запишите меня в пятую колонну с Солженицыным!» Валентин Гольдман: «„Нейшн” — просоветский журнал. Я еврей, и мне надоели обвинения Солженицына в антисемитизме. Со страниц „Архипелага” на нас повеяло ветром свободы и надежды... И почему наши доморощенные либералы всё пугают Запад, Россию и эмиграцию „русским национализмом”? Почему русским запрещено иметь национализм, а грузинам, литовцам, армянам — можно? Не расизм ли это — запрещать народу иметь свои чаяния и в то же время пугать Запад этим национализмом, как делает Белоцерковский?» — Лев Дубинский: большевики «Солженицына не смогли уничтожить, либеральничали нехотя. Как же его остановить? да клеветой! В СССР лекторы сообщают народу о жиде, помещике, фашисте, сионисте, власовце, изменнике Солженицыне. На Западе нам рассказывают, что Солженицын — агент КГБ, фашист, русский Хомейни, пятая колонна Кремля. Дай Бог Солженицыну долгой жизни, а его родине — свободу!» — Михаил Гальперин: «В книгах Солженицына антисемитизмом не пахнет».

Однако это всё — вперёд, на лето-осень 1985, а ещё ж не исчерпаны рьяные атаки весны. (Услышан давний зов Синявского: да евреи! да ударьте же!) В запасе был ещё Лев Наврозов, *литературный гений* (привёз на Запад несколько готовых романов, и первый же роман его, «Воспитание Лёвы Наврозова», тут злокозненно не признали выше всего написанного в XX веке, а до остальных как будто и дело не дошло). В СССР он был затаён беззвучно, ни хвостика оппозиции, — «жил в подпольи», кокетливо представляется в «Континенте» (однако дачами соседствовал с Громыкой), — а на Западе тут стал сразу опорой консерватизма, автором непримиримых антисоветских колонок в «Нью-Йорк сити трибюн». (Это чуть ли не всеобщий закон: что на Западе смелее всех разворачиваются те, кто тишайше вёл себя в СССР.) Но Наврозов, надо отдать справедливость, не побоялся судебного столкновения и с Голдой Меир и с «Нью-Йорк таймс»: если не принципиальность, то неистовость его обуревает. Сейчас вот (1987) — решился атаковать и Сахарова за его возврат в советскую лояльность. О себе при этом он серьёзно пишет так: «Я пролагаю свои пути», «общий поток моей умственной деятельности»... — И уж таким он стал железнейшим антикоммунистом, что я хотя и знал его скорпионом, а укуса в свой бок от него не ожидал.

А пришлось. Он выпрыгнул в своей газете в феврале, через две недели после первого газетного сигнала. Как видно из его слов, 20 лет он крепился, меня не трогал, выжидал, когда же минует со мной сенсация, когда же можно будет ударить, — и вот, наконец, можно. Крепился — а тут так ясно запахло жареным! Он понял: это сигнал — бить, но чтобы добить — нельзя рассеиваться, а надо сосредоточиться на главном: «Евреи уже стонут, находя всё больше доказательств» антисемитизма Солженицына.

Тут легко воспламененого Наврозова пронзили две булавки-догадки: 1) а будет ли когда вообще опубликован по-английски столыпинский том «Августа»? не утаивается ли он с умыслом? 2) а если еврейская критика Солженицына усилится — то не бежит ли он с Запада в СССР? (И тогда — грош цена его показательному антикоммунизму.)

Эти две догадки, видимо, так сильно уязвили Наврозова, что породили богатые последствия. Он развил активность по любым меркам выдающуюся.

Полились статьи в его консервативной «Нью-Йорк сити трибюн», и не только самого Наврозова, а штаба газеты. И что, правда, этот Солженицын? — о Гулаге? — так все всё знали и до Солженицына. А вот — своей антизападной позицией он помогает Советам. И раз он националист, то как он может не быть антисемитом?.. И ещё раз: в американской газете — крупный переснимок из эмигрантской «Панорамы» с портретом Белоцерковского и крупными русскими буквами: «Солженицын — пятая колонна советской пропаганды».

Смутилась, затревожилась праворучная Америка — и стала от того Солженицына отваливаться: нет, не наша лошадка. (Опять и тут — второй жернов заскрипел, от первого не отстать.)

Но что там редакционные статьи! Лев Наврозов поднялся в решающее и последнее наступление. Заголовки на две газетных страницы раскинулись такие: «„Пророк“ свободы или антисемитизма? Двудличный тоталитариец сталинского урожая. Нуждается ли человечество в тоталитаризме с солженицынским лицом?»... И крупно изображён я — с лицом старым, обиженным, и почему-то под стенами федерального Суда Соединённых Штатов. А статья — преогромная. Наврозов вообще отказывается понять «фантазмагорию, которую создала пресса за 20 лет из солженицынской сенсации». Называть Солженицына антикоммунистом? — комично. Смелость? — никакой он не проявлял. «Архипелаг»? — ну какую ценность он имеет? Просто: Солженицыну повезло, что Хрущёв его напечатал, а других — нет. И даже, в своей консервативной чистоте, отшатывается от меня Наврозов и в таких неожиданных пунктах: почему я «черню» Николая Второго, который был «прозападным конституционалистом»? и почему я «примкнул» к Американской православной церкви, а не к Зарубежной, столь непримиримой? Впрочем, что особенно беспокоиться? «Теперь он забыт прессой и его „величие“ прошло... Вот слухи, что может вернуться в Россию, „любимый блудный сын любимой матушки России“». Возможно, вся «кампания клеветы против Солженицына в СССР — это спектакль». Но 11 лет он отказывается стать гражданином какой-нибудь западной страны, это — почему? это — как понять? Да только нынешний советский режим не нуждается в Солженицыне, раз его сенсация прошла. Нет, скорей всего — не примут его.

Но это не всё! Вот — крупное объявление: в журнале «Мидстрим» (левом и еврейском, как называют они себя) за июнь-июль 1985 — труд Льва Наврозова: «„Август Четырнадцатого” — это новые „Протоколы Сионских Мудрецов”». Страшнитесь!

А «Мидстрим» — это тот, что не раз пописывал обо мне. Именно он печатал умопомрачительное изнюхивание М. Пераха (антисемитизм Солженицына не в его словах, а в *отсутствии слов*, например: почему в «Иване Денисовиче» ни разу не употреблено слово «жид»? — ведь это умысел!!). Именно «Мидстрим» выразился, что мои книги (из-за моего крестьянского происхождения) пахнут навозом. Редактор его Джоэль Кармайкл — «один из лучших консервативных историков России». И вот, в его просторном журнале несытый славою Наврозов мечет удары по «Августу»: «...полуграмотный русский язык... полуграмотный провинциал... Когда я прочёл „Ивана Денисовича”, я сказал, что он *может* стать небольшим писателем, что было в *моём литературном масштабе* комплиментом... Но у Солженицына не было времени развиться в небольшого романиста... приходилось делать вид, что он Толстой, и срочно отращивать бороду». «Август» — «не роман, а миф... мифические фигуры... предвзятые мнения». — Вольно переводя с русского, ибо по-английски книги ещё нет, Наврозов более всего нагнетал, до звенящей страсти, — еврейскую, еврейскую, еврейскую тему! — И вот — такая-то гнусная антисемитская книга «накачивалась в Россию по радио» до тех пор, пока не «прозвучал гневный протест общественности» в Америке. Знал, хорошо знал наш скорпион, куда жалить, — это место уже нажжённое, напалённое.

Да оглянуться, оглянуться. Ведь уже от «Ивана Денисовича» эти споры и начались, с первого моего появления: а почему — Цезарь посылки получает? а почему Иван Денисович его обслуживает?

А сейчас, за эти месяцы кругового всеамериканского подогрева, — схватилось как пожаром. И сочувствующий мне «Уолл-стрит джорнэл» наивно предлагал мне как *спасение* такой выход: написать предисловие к выходящей вскоре книге Щаранского — тем я докажу, что я — не антисемит. (Да ещё — докажешь ли? Ещё — зачтут ли в похвальное поведение?)

Во всей этой истории меня больше всего поразило: какая же боязнь правды о прошлом! Нет, видно её боятся не только пенсионеры НКВД и функци-

онеры КПСС, — нет! И как же рано взорвались здешние нападки — уже на убийстве Столыпина, и сразу на высшем голосе, а ещё ж впереди будет развёртываться вся, вся Революция! Не оставляют себе запаса для гнева и спора.

И как удивительно повторяется: травят меня опять в той стране, где я живу, — и опять за книги, которых тут никому не доступно прочесть. И, как и советские нападки, здешние тоже стягивают любую проблему и мысль — на позорно низкий партийный уровень, на клочки, на ярлыки, вот теперь «антисемитизм», и подыскиваются самые подлые личные обвинения. Не в состоянии они держать свою мысль высоко.

Хотел я замкнуться в работе — нет, не дадут? нет, вытягивают на бой? Как они провоцируют и ждут, чтобы я «ответил на критику в прессе» (ну точно как в СССР!), как они жаждут, чтобы я принял согбенную позу обвиняемого. Но — не пошевельнусь, пусть выговорятся. (В те дни у Али записано: я вполне готов, что травля будет возрастать и до самой моей смерти, заложит всё небо.)

Брань в бок не болит, очей не выест. Сдюжаем. Не рассчитали противники, как устойчив мой характер, я — гнанный зверь. Этот шквал я переставив спокойно. Период, когда тебя бранят или замалчивают, — для творчества самый полезный, меньше ненужных помех. Безо всякого душевного затруднения я входил в эту полосу заплёванности, как при печатании «Ивана Денисовича», напротив, — в полосу известности.

Но Аля переживала эту безотбойную атаку на нас — остро. В отличие от меня — она чувствовала себя реальной жительницей этой страны, где ей приходилось общаться, сноситься, делать дела общественные и личные, организовывать разные виды защиты распорядителей нашего Фонда в СССР. И ещё больнее: наши дети жили в этой стране как в своей реальной, пока единственной — и сколько лет ещё им тут предстояло, и вся эта брань не могла не стеснить их, озадачить. И Аля хотела, чтобы я теперь стал активно обороняться. Мои доводы, что надо перестоять, перемочься, доброе молчание чем не ответ? — не убеждали её.

А тем временем — изнемогала ж ещё и «Нью-Йорк таймс»! Всю инициативу открыть кампанию «по антисемитизму» вырвала у неё вечная её соперница «Вашингтон пост», потом покатило, покатило по другим газетам — а главный-то Оракул ещё не успел и рта раскрыть. А только он один, по чину, может решить и присудить окончательно.

И вот в середине июля 1985 получаю письмо от Ричарда Гренье: что сейчас некая «специальная ситуация», по которой не решил бы ли я преодолеть своё отвращение к интервью и высказаться? В связи с конфликтом вокруг обвинений в антисемитизме он уполномочен самим издателем «Нью-Йорк таймс» А. М. Розенталем — написать о том статью, и будет писать её под прямым наблюдением издателя. Вот — Гренье прочёл и расширенный «Август», и «Октябрь» (по-французски; наконец-то! — человек, который *прочёл*), — и сам не находит в них антисемитизма. Теперь он опросит около двадцати «экспертов», чтобы составить балансный отчёт. Но: я могу овладеть этим процессом раньше других, если решу высказаться сам, и тем могу прекратить все дебаты. Конечно, признаёт, время о том говорить — когда книга выйдет в Америке, и не миссия писателя давать интервью, но дебаты всё равно начались, и общественное мнение может отвердеть ещё до книги. Заверяет, что во всей Америке я не найду более пылкого доброжелателя, и даже мою гарвардскую речь он воспринимает с трепетом. Просит дать ему интервью.

Аля склоняла меня дать. Она читала: «Так можно выиграть! самим перейти в атаку!» Я отклонял начисто: я должен перемолчать их на большом отрезке времени и так приучить к сдержанности, отучить от визга. Она спорила: «Нельзя ко всем нападкам относиться как блажененьким». Потом стала смиряться, записала: «Пожили в славе, поживём и в поношении».

А я твёрдо уверен: моя правда теперь — в молчаливом выстаивании нескольких лет. Медведю зима заобычай.

И всё-таки — «Нью-Йорк таймс», не иголка в стогу. Интервью — нет. Но вместо того, решили: напишу ему письмо, обозначу всё ясно. Форма частного письма к понимающему человеку — она сама располагает высказаться глубже.

«17 июля 1985

Дорогой г-н Гренье!

Действительно, я считаю невозможным для писателя выступать в роли адвоката собственных произведений, да ещё прежде их публикации.

Не скрою, я был чрезвычайно удивлён, что в Соединённых Штатах дискуссия об „Августе” началась — 1) когда книга недоступна никому из читателей; 2) с наклейки на неё политических ярлыков. Такую практику по отношению к моим книгам до сих пор применяли только в СССР.

Что касается ярлыка „антисемитизма”, то это слово, как и другие ярлыки, от необдуманного употребления потеряло точный смысл, и отдельные публицисты и в разные десятилетия понимают под ним разное. Если под этим понимается пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом — то уверенно скажу: „антисемитизма” не только нет и не может быть в моих произведениях, но и ни в какой книге, достойной звания художественной. Подходить к художественному произведению с меркой „антисемитизм” или „не-антисемитизм” есть пошлость, недоразвитие до понимания природы художественного произведения. С такой меркой можно объявить „антисемитом” Шекспира и зачеркнуть его творчество.

Однако, кажется, „антисемитизмом” начинают произвольно обозначать даже упоминание, что в дореволюционной России существовал и остро стоял еврейский вопрос. Но об этом в то время писали сотни авторов, в том числе и евреев, тогда именно не-упоминание еврейского вопроса считалось проявлением антисемитизма, — и недостойно было бы сейчас историку того времени делать вид, что этого вопроса не было. Чтобы не повторились ужасы, которые человечество совершило над собой в XX веке, все виды революционного и этнического геноцида, — надо изучать историю, как она была, подчиняясь лишь требованию исторической истины, а не оглядываясь на возможную сегодняшнюю цензуру, „что скажут” или „как это будет принято” сегодня.

Я развёртываю „Красное Колесо” — трагическую историю, как русские в безумии сами разрушили и своё прошлое и своё будущее, — а мне швыряют в лицо низкое обвинение в „антисемитизме”, используя его как дубину, низменно подставляют цепь ложных аргументов.

Все предъявленные до сих пор в прессе претензии к моей эпопее в её исторической части — либо опираются на неверные сведения, либо просто голословны. Что касается Богрова, то я не только досконально изучил и использовал в с е относящиеся к нему материалы, но в объяснение его действий принял мотивы, выдвигаемые его родным братом, который написал об этом книгу (В. Богров. „Дм. Богров и убийство Столыпина”. Берлин, 1931, изд-во „Стрела”).

Если хотите, Вы можете использовать это моё письмо в любой форме для Вашей статьи.

Я рад, что Вы будете судить не по слухам, как большинство тех, кто сегодня высказывается...»

Но нет, Гренье не удовлетворился тем. Ответил через две недели длинно: Если и верен Ваш критицизм относительно американской прессы — то лучше

самому манипулировать ею, чем давать манипулировать ею против себя. У меня такое чувство — (верное, да) — что Вас не слишком заботит, что американская пресса пишет о Вас. Но вокруг чего американская пресса возбудится — то обычно распространяется по всему миру. — (Тоже верно: Европа презирает Соединённые Штаты, но за жизнью их напряжённо следит. Скажешь в Америке — раздаётся везде. Скажешь в Европе — Америка может и не услышать.) — Я буду щедро цитировать Ваше письмо, но, по смыслу редакционного задания, буду приводить и мнения Ваших врагов. А вот если Вы согласитесь принять меня в Вермонте на часик-другой — это будет совсем другая статья. Вы — крупная публичная фигура и имеете возможность «перенять оппозицию». Например, Президент Соединённых Штатов делает так постоянно, или вот как недавно успешно поступил нью-йоркский мэр Коч (далее — пример). Если даже Вы только повторите мне устно то, что уже написали в письме, и ответите на некоторые дополнительные вопросы — то Ваши заявления и составят ту статью, я не должен буду вступать в спор с Вашими противниками — Вы выскажетесь *сами*, статья будет *на первой странице* «Нью-Йорк таймс» и прочтена каждым. Вы спросите, какая разница, если ответил в письме? — тщеславие прессы. Вы спросите, а зачем вообще это обсуждать, почему не подождать выхода книги по-английски? А потому что — так работает американская пресса. Если что-то есть в воздухе — читатели желают об этом прочесть. Обвинения в антисемитизме, как вы должны понимать, *исключительно опасны в этой стране*. В Соединённых Штатах есть люди, которые изо всех сил стараются разрушить Вашу репутацию, и они не будут ждать выхода книги по-английски. Ситуация исключительной срочности, а Ваше положение даёт Вам возможность энергично защититься.

И снова у нас дома горячий спор. Аля настаивает: в бой! в атаку! моё молчание будет истолковано как «прячется».

Но нет, я уверен: Але в этот редкий раз отказало верное решение и долгосрочная выдержка. Для меня: появиться вот так на первой странице «Нью-Йорк таймс» — суета, истерика, унижение, испугался. И не хочу принимать «Нью-Йорк таймс» в арбитры. Хотят привести меня к присяге — да ни за что! При первой травле стать перед ними в позу оправдания? — да было бы несмыслимое пятно, позорный гиб. Ни за что.

Отвечаю:

«6 августа 1985

Дорогой г-н Гренье,
благодарю Вас за Ваши добрые намерения.

Но я не считаю, что нахожусь в положении политических деятелей: они нуждаются в максимальном сегодняшнем эффекте воздействия и в переизбрании, а я не нуждаюсь. Моя задача — написать правдивое историческое исследование о русской революции, — а далее мне не так важно, будут ли мои книги приняты именно в этом десятилетии и именно в этой стране. Да, я вполне сознаю, насколько могут вредить обвинения в антисемитизме в этой стране, и даже допускаю, что мои враги будут сейчас иметь в американской прессе полный и быстрый успех, — но это не касается масштабов истории и масштабов литературы. Выступить в газете непосредственно, чтоб отражать низкие, искусственно созданные обвинения, — я считаю для себя невозможным.

Моё письмо к Вам от 17 июля — наибольший предел того, что я мог сделать».

Нет! Гренье не согласился, прислал третье письмо. Нет, не потерял надежды: ну, хоть не полноразмерное интервью — но даже несколько слов, сказанных Вами мне непосредственно, — уже обеспечат Вам доминантную роль в статье. Мочь указать, что Вы «сказали нашему репортёру», — такова соревновательная природа журнализма в Соединённых Штатах. Наибольшая выпук-

лость Вашего взгляда, как бы Вы ни были к тому равнодушны, усилит Вашу позицию в этой стране. Вы добьётесь своей реабилитации. Вы же — защищали себя в «Телёнке». Не может быть, чтобы на коротком отрезке Вы совсем бы не интересовались, что происходит в Америке. Вы можете или могли бы стать большой моральной силой здесь.

Очень горячо он писал. Но для меня — этой переписки уже было чересчур. Я ему больше не отвечал. А Аля — поперёк своего убеждения держа мою оборону — объяснялась с ним по телефону бесконечно, — вот так он настаивал.

Так — я сделал свой выбор, и рад тому, и не раскаялся.

А статья Гренье, за всеми опросами и задержками, появилась в «Нью-Йорк таймс» только в ноябре (и в редакции, как говорит М. Фридберг, сильно её сократили), уже на далёкой странице, с равными фотографиями моей и моих судей, гарвардских профессоров: Пайпса (против меня) и Улама (за). Построена была статья лохмато, с повторами, непоследовательно, обычными выщипами прессы, но в опросе мнений перевес оказался в мою всё же пользу; неплохо сказано о значении и смерти Столыпина, благоприятно оценено и «Письмо вождям» (в этой же самой «Нью-Йорк таймс» в 1974 прклятое). И склонился баланс так: хотя «Архипелаг» по сравнению с «Большим террором» Конквеста «менее беспристрастен к соотношению евреев и гоев», хотя я «неосознанно нечувствителен к еврейским страданиям» (Эли Визель) — однако же у меня антисемитизм не кровный, не расовый, а «на основе религии и культуры», и этим я похож на Достоевского, который, как известно, был «ревностный христианин и неистовый антисемит» (Пайпс).

А Оракул — есть Оракул. Раз «Нью-Йорк таймс» выразилась умеренно — море негодования стало пока успокаиваться. Некоторые местные газеты — перепечатали эту статью, так же и соседняя вермонтская, с заголовком: «Солженицын отрицает обвинение в антисемитизме», — и наши соседи впервые вообще прочли о тех обвинениях, а одноклассники с любопытством спрашивали наших сыновей, «что такое антисемитизм».

Перенеслось и через океан. «Дейли телеграф», «Ивнинг стандарт», и Лосев отбивался в «Спектейторе».

Сама «Нью-Йорк таймс» поместила отклики лишь единожды, и тоже — равновесным коромыслом.

Набат сенатского колокола — отгудел.

А вторичные круги от большой Тревоги — ну, всё не могли улечься.

Как же было иным евреям — сперва американским, потом и шире — не воспринять этой удавшейся подтравки? Ещё бы не задело! В еврейской прессе появились отзывные статьи, вот, например, лос-анджелесская «Израиль тудей», октябрь 1985: «„Голос Америки“ — голос антисемитизма?» — «Эти главы, вероятно, никогда не будут доступны не читающим по-русски» (усвоенная мысль Наврозова). «Подлинный русский был гнусно убит пулей еврейского убийцы... Убит человеком настолько низким, что он даже служил осведомителем полиции...» Подбор цитат из разных мест книги, вперемешку и в густоте, чтобы доказать её антиеврейскую злость, ссылки на авторитет Льва Наврозова, «блестящего писателя и учёного», а ничего в статье больше и нет.

Но, как всегда, у евреев есть разнообразие мнений. И, например, «Детройт джюиш ньюс» той же осенью выставила рядом фотографии мою и Рауля Валленберга, и — к нынешнему спору о моём антисемитизме — пространно повторила свою публикацию 1975 года и мои слова о Валленберге на пресс-конференции в Стокгольме в 1974* (после которых только и началась, и то не сразу, международная кампания по его розыску), заключив: «Как любопытно, что Солженицын должен был подкрепить еврейскую активность в защите Валленберга». (Подкрепить? — пробудить...) Напомнила кстати.

* «Публицистика», т. 2, стр. 169 — 172.

Были и частные обращения ко мне. Вот 25-летний Филлип Авербук из Бостона. Читал мои книги, статьи, и согласен с моей критикой Запада. По «Из-под глыбам» разделяет мою уверенность, что русскому народу предстоит ещё сыграть важную и благодарную роль в не столь отдалённой будущности человечества. В том же уверен он и относительно евреев, русские и евреи могли бы дополнительно соединиться в этих будущих событиях. Но вот среди евреев растут споры о моих чувствах относительно них: одни считают — все бы гои имели такие взгляды, как Солженицын, другие — «это типичный традиционный русский антисемитизм», и обе стороны ссылаются на цитаты из написанного мной. А Авербук, прочтя Наврозова в «Мидстриме», теперь находит такой простейший выход: он возьмёт у меня прямое интервью и все сомнения рассеются, как просто! И вот вопросы: 1) Много ли вы знаете об истории и религии евреев и откуда вы получили ваши знания? 2) Верно ли, что вы верите, что только православие спасёт Россию, и если так, то что будет в *идеальной* России с не-христианами? 3) Что вы думаете о государстве Израиль, об израильском обществе, об отношениях Израйля с другими странами? Чувствуете ли вы, что Израиль обладает универсальным значением, и если да, то в чём это проявляется? 4) Признаёте ли вы значительный вклад еврейской философии в русскую культуру последних двух столетий, исключая Маркса и Троицкого? 5) Как вы воспринимаете философию и действия новых еврейских эмигрантов? 6) Есть ли у вас соображения, критика, комментарии к еврейскому народу в Свободном Мире?

И вот как только, закинув «Красное Колесо», я всю эту диссертацию подготовлю, потом изложу ему — и дело в шляпе, я — реабилитирован!

А к той же осени 1985 возьми и подойди очередь (один раз в 5 лет) Мирового Конгресса по изучению СССР и Восточной Европы (*слависты*). И когда уже вокруг всё так подпалено — как же и Конгрессу не заняться тем же сталинским циклом и не решить раз навсегда проклятый вопрос об антисемитизме Солженицына?

Однако не слишком преуспели. Кто, обсудив детально и сталинскую эпоху, и убийство Столыпина, — от «антисемитизма» ускользнул начисто, как и не слышал такого. Кто — отважно брал быка за рога: что Столыпин был воистину велик; богровский выстрел не принёс евреям счастья, но оказался для них трагедией (что — верно); а Богров изображён полифонически, и читателю предоставляется самому интерпретировать его фигуру; и никакого антисемитизма в «Августе» нет.

Впрочем, это было ещё за неделю до статьи в «Нью-Йорк таймс», и международные слависты, как и американская образованщина, ещё не получили сигнала, на какую сторону предложено склониться. Да и «Нью-Йорк таймс», увы, не дала им решения совсем окончательного.

Но не предоставила она своих страниц и нашему настырнику Наврозову, для его многотысячесловного приговора. А ему — как же быть? Куда верней ужалить? Отчаянно ринулся напролом: задушить американское издание «Августа» ещё до выхода! (хотя только что жаловался, что именно по злоумыслию я не издаю его по-английски). Ещё один проблеск гения: прямое напорное письмо моему издателю Роджеру Страусу! — Во-первых, Наврозов считает своим *долгом* послать Страусу свою мидстримовскую статью, ибо она — *единственный* обзор книги, не напечатанной по-английски! и в ней он, Наврозов, приравнял «Август» к «Протоколам Сионских мудрецов!» — Во-вторых, ещё вопиительней (и мы узнаём о том первый раз): издатель «Мидстрима» шепнул Наврозову, что Солженицын, как предполагают, намерен подать в суд на журнал, чтобы принудить Льва Скорпионовича к молчанию. (Вот ведь чем озабочены, трухают! И куда ж направлены мозги, кроме как к суду, к суду, к суду! — они сами в моём положении уже десять раз бы подали. Да может быть они сейчас больше всего и жаждут суда, как и Флегон.) А, мол, в романе дюжину раз образ Богрова представлен змеей, *которую Солженицын обращает в Еврейского Змия!* И вот пронзительная догадка: да наверно существуют две разных версии «Августа»: одна — антисемитская и предназначенная исключительно для русских антисемитов (иных читателей среди русских и нет), другая — для западных языков, чтобы выскользнуть и показать западной публике, и *особенно за-*

падным евреям, что все обвинения книги беспочвенны. — Так вот, господин Страус: если ваш перевод в точности соответствует русскому изданию, то вы публикуете наиболее антисемитскую книгу со времён «Протоколов»! Или: ваш перевод исключает или смягчает антисемитские места — тогда вы участвуете в политическом двурушничестве! (узнаётся советский язык). Я бы хотел (прокурор бы хотел!) получить ответ на два вопроса: *когда* Солженицын предложил вам опубликовать эту версию? и *какой именно* текст?

Наш Страус не мог тут не испытать душевного колебания: такой звонкий уверенный напор *знающего* человека — а Страус ещё и не читал перевода! — ведь Виллетс бесконечно тянет. Не без колебания и меня запрашивал: как там на самом деле с этим Еврейским Змием? (Аля слала ему объяснения.) Что-то ответил он на травщику? — не знаю. Но в общем устоял, дождался виллетского перевода и успокоился.

Да уж разбуженная тревожная тема разве могла так мирно утихнуть?

«Мидстрим», выждав полгода (американский срок подачи за клевету, я не подаю), предоставил Наврозову десяток страниц громить меня дальше: «Духовное развитие Солженицына было параллельно развитию Сталина»; Солженицын в юности был *духобор* (?) и потому дальше «мог бы стать шефом КГБ или генеральным секретарём коммунистической партии»; он «открыл себя антисемитом только на Западе» (то есть в наиболее подходящей для того обстановке...); а кто уверяет, что Солженицын не антисемит, — те: или крестоносцы; или евреи, желающие быть приятными консервативным христианам; или лизоблюды; или подкуплены... — И уважаемый журнал Кармайкла распространяет такой бред, полагает ли — американцам всё сойдёт?

Профессор А. Е. Климов ответил в «Мидстриме», доказав, не выходя из академического тона, что Наврозов не знает истинных обстоятельств ни о Столыпине, ни о Богрове, ни о библейской символической. — Наврозов отвечал ругательно, что и «Климовский подход в основе есть сталинский нацизм» — и вообще: всякий, кто не согласен с Наврозовым, «присоединяется к американской нацистской партии».

И усилил Наврозова не остались вотще, приёмисто подхвачены «Алефом» — израильским журналом на русском языке, широко читаемым и в Америке, и там потянулась дискуссия. (В Израиле «Август» защищали Михаил Хейфец и Дора Штурман. — Завершая дискуссию, им в «Алефе» ответили в базарном тоне: «Каравул, нас кажется учат жить!»)

Александр Серебренников в Штатах напечатал *сборник документов* «Убийство Столыпина», чтобы меньше оставалось нечестным спорщикам врать. И он же давал документальные справки о роли Грузенберга в Китае (о том, в той же «Панораме», тоже кипела *дискуссия*, всё ещё о моей тайваньской речи).

Само собой — ещё долго перекачивался гнев по американским изданиям. Всё тот же прилипчивый Ларс-Эрик Нельсон, теперь в солидном «Форин полиси», катил грозный обвинительный акт по небдительности «Свободы». И неумный Белозерковский лепил, что я одновременно ненавистник Запада, разлагатель России и презираю русский народ.

Вот так, пока я писал Узлы, эта свора дружно поливала меня. (Из швейцарской жизни в горах яркое наблюдение: как бауэры окачивают свои луга из брандспойтов жидким навозом.) Впрочем, бывшего зэка и этим не возьмёшь.

Одного только эти злопыхатели не понимают. Как пошутил Ларошфуко: ничто так не помогает жить, как сознание, что твоя смерть доставит кому-то радость.

Когда я давал «Телёнку» подзаголовок «очерки литературной жизни» — то иронически: вот, мол, к чему сводится «литературная жизнь» под коммунистическими клякками, одни только рожки да ножки от неё.

Но никогда бы не подумал, что и в Соединённых Штатах литературная жизнь может подпасть под Слушания и Расследования.

И вот, по перерыву в «Колесе», подошли месяцы снова вернуться к «Зёрнышку». А на мою жизнь уже столько наклеветано, и в крупном и в мелком,

что приходится и в этом всё м копошении здесь разбираться — хотя бы только для моих сыновей да будущих внуков.

...Впрочем, уже не на звенящих канатах держится жизнь, нет сил замахиваться на задачи непомерные. Уже годам к 64, пять лет назад, стал я на лестнице что-то задыхаться, сжимает грудь. Сперва и значения не придавал, потом оказалось — это стенокардия. Да ещё ж и кровяное давление всегда повышенное. Вот уже и с головой нырять в глубину пруда стало как-то негоже, прекратил.

Стало посещать меня: а вдруг — не дождусь я возврата в Россию? Даже странно, что это сомнение не являлось ко мне раньше: всегда несла меня вера в возврат.

А он вот — не открыт. И чтобы сдвинулась, изменилась огромная масса СССР — это сколько нужно ждать?

Гнал-гнал, спеша всё успеть, успеть, — а жизнь склонилась, может быть, к такому концу?..

Не верней ли подумывать: в какую землю хорониться?

Перебирал разное: от самого нашего лесного участка (Аля и слышать не хотела), временная могила, чтобы потом перевезти прах в Россию; от православного «угла» ближнего к нам американского кладбища. И получалось, что всего верней — лечь в русское («белогвардейское») под Парижем*.

Глава 13

ТЁПЛЫЙ ВЕТЕРОК

Все наши вермонтские годы, с 1976 уже одиннадцать, я постоянно ощущал как благовременье и благодать, несмотря на череду внешних неприятностей и клевет. Они не только простелили мне *возможность* написать «Красное Колесо» — но и, обратно, историческая работа была *спасением* моим: вести тут, неутомно и не охладевая, дело, я верю, плодотворное для России, а вместе с тем реально отодвинуться от участия в безвыходной современности. История революции была моим дыханием все годы изгнания — и далеко отвалила меня в глубь времени.

Но и такие размеры уже принимала эпопея, не востимые ни в мою одинокую жизнь, ни, ещё важнее, в возможный читательский охват, что стал я колебаться, где же остановиться? — в августе 1918? перед октябрьским переворотом? а то и раньше? Вёл к тому и возраст мой. И, с углублением в «Апрель», убедился я, что начало мая 1917 — весьма доказательная грань в истории нашей революции, многое — видно ясно и вперёд. Уже к маю 1917 либеральный феврализм полностью безволен, хил, обречён — приходи любой сильный и бери власть, большевики. Вот кончу «Апрель» — и хватит с меня, пока — предел. А в будущем, останется время — можно попробовать построить тот скелетный Конспективный том, на все ненаписанные Узлы.

С ростом архива «Колеса» становилось невозможным перетаскивать всё нужное в летний прудовый домик, и вот, с 1984, я впервые стал работать над

* На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа уже тогда добыть место для могилы было почти невозможно. Н. А. Струве купил по знакомству — анонимно, не говоря для кого. И вот — мне не понадобилось, уж теперь я лягу в России. А Владимир Максимов умер в Париже в 1995, заматились родные — негде хоронить! Сообщил мне о том Струве, и отдали мы им моё место. Последние годы так почему-то раздражённый на меня Максимов, столько нападавший уже в советской печати, — мог ли ведать, что ему — в мою могилу ложиться?

Но проходит ещё год и узнаю («Наша Страна», № 2358): в то место в 1945 уже похоронен был славный лётчик Первой Мировой войны Евгений Владимирович Руднев, впоследствии начальник авиации Добровольческой армии. А 40 лет прошло, родственников не осталось — и администрация кладбища перепродала безымянно. Можно понять их: мест на кладбище нет, а ещё оставшиеся эмигранты умирают — куда класть? Но и — ознобительно к предшественнику так лечь, хотя и не ведая о том. (Примеч. 1996.)

«Колесом» не по круглому году, а — два летних месяца что-нибудь другое. Маховик лет замедляется.

Да оглянуться — много и долгов недоделанных. Повисла с 1948, с шарашки, незаконченная повесть «Люби революцию», о начале войны. Не заканчивать, но немного отделать? Не очень успешливое занятие: редактировать своё давнее старое, и не мочь и не берясь переписывать его заново, по-сегодняшнему. Пусть так и остаётся, ранней и неоконченной, в полную силу писать её и не хочется. Удалась повесть тем, что юмористична, с постоянной усмешкой над бессмысленным героем. Но перечитывал её — и сразу слетел с меня груз лет, вернулся я к тому юноше, вернулся в атмосферу 30-х годов — и потянуло: писать бы о них! — я же помню, сердцем и шкурой, весь тот обжигающий воздух (теперь отлетевший, да и скрываемый), — как хотелось бы перенести его на прозор будущим читателям, и особенно воздух той литературы, под грязными одеялами которой растили нас. И одновременно ощутил, как же тяжёлок мне груз «Колеса», оказывается, — хотя в обычной работе я годами этого не испытывал. Как хочется облегчить перо в малой подвижной прозаической форме! Писать бы необстоятельные рассказы и совсем небольшие, больше крохоток, но меньше «Матрёны», так бы — от двух до пяти-шести страниц. Но ни на каком материале это невозможно, кроме современного русского, — и, значит, если и когда вернусь в Россию.

В тот же год как раз вышла и скэммеловская извращённая биография — и засосало у меня, что не миновать и мне рассказать о своей жизни — в той части, какая не перекрывается с «Телёнком». Летом 1985 и окунулся в давние годы — детство, юность (и нынешнее моё отвращение от её пустопорожности), фронт, да и тюрьмы с лагерями, и ссылка, и тревожно радостный, и в гранях ошибок, возврат из ссылки. Летом 1986 — ещё один такой месяцок, да вот — и кончил, жизнь до высылки охвачена. Да ведь и 70 лет — вот, на носу, и будет ли ещё другое время к тому обратиться?

Ещё потянуло меня приложиться и к художественной критике — в общей тяге вернуться в рамки литературы. Изгаженьем ощущал я «Прогулки с Пушкиным» Синявского — а с годами, смотрю, никто достойно ему не ответит. Работа неблагодарная, и времени отняла досадно. Но благодетельно было в ходе её перечитать, окунуться снова в Пушкина, ещё по-новому вникнуть в него*. — Да ещё с 70-х годов в СССР собирался я отозваться и на «Рублёва» Тарковского, тогда покоробившего подменным использованием русской истории в сегодняшнем споре. Но надо было мне его посмотреть второй раз, а негде. Вдруг — привезли в соседний городишку русский вариант фильма, мы узнали совсем случайно. Значит, судьба. Поехали-посмотрели — и я написал. (А напечатал — взрыв возмущения среди третьеемигрантов, Тарковский, оказывается, в обоготворении.)**

Вскоре за тем, из-за донских глав «Колеса», взялся, для языка, перечитать «Поднятую целину» — и опять выпросился на бумагу очерк***.

И если дальше продолжать — то куда эти очерки пойдут? Нет времени. Покинул.

Да ещё ж тяготеет надо мной ИНРИ, тоже затеянное не по силам: надо же рукописи читать, оценивать, редактировать. Как будто нашли постоянного редактора серии — Н. Г. Росса; нет, не справился, досадные промахи. М. С. Бернштам ушёл в американскую науку, совсем от серии отстал. Тут нашёлся кипучий молодой эмигрант Ю. Г. Фельштинский, взялся за эсеровский мятеж 1918. — Русских авторов-историков в доживающей эмиграции, собственно, нет, приходится даже русских переводить с иностранного, как вот, уже после «Истории либерализма» Леонтовича, — две книги Г. М. Каткова, «Фев-

* «...Колеблет твой треножник» («Публицистика», т. 3, стр. 226 — 250).

** «Фильм о Рублёве» («Публицистика», т. 3, стр. 157 — 167).

*** «По донскому разбору» («Публицистика», т. 3, стр. 210 — 224).

ральская революция» и «Дело Корнилова», или «Жертвы Ялты» Николая Толстого. Или даже вот появилась «История власовской армии» Иоахима Хоффмана — спасибо хоть немцы пишут о выворотной стороне войны. Издадим и её.

Из мемуарной серии ВМБ к весне 1987 выпустили шесть книг, седьмая на выходе. Аля — с большой бы охотой и успехом продолжала её, она приняла эту серию как свою подопечную, но за моей неустанной работой даже некогда ей пересмотреть наши собственные хранения, отобрать в нашем доме на полках. — Уговорил я четырёх бывших наших военнопленных — не затаиваться дальше, написать воспоминания о немецком плене. Аля отредактировала том Черона—Лугина, наполовину набранный Ермолаем, — я взвыл, что стоит моя работа, нельзя. И так, всё надежда: когда-нибудь, когда-нибудь в будущем осилим. (Двое из пленников задумывают написать и исследовательскую работу обо всей системе лагерей военнопленных в гитлеровской Германии*.)

Летом 1986 схватился я перечитывать и в мелочах доделывать «Телёнка» (набирать его — недоведомо когда, а надо скопировать и спасти на случай хоть пожара). Затем — и «Невидимок». А затем, вот теперь, — и «Зёрнышко», уже ой-ой сколько написано. Над «Телёнком» с отвычки сам был поражён крутостью изложения и языка, лёгкостью озорных поворотов, заражаюсь, — но в «Зёрнышке» это всё невозможно, тутошний материал — совсем не тот, да и я сам — не тот. Там — ещё лагерный накал, теперь утерянный, а главное — безбоязненность истины, безоглядливость высказываний — которые во мне на Западе отбивают и отбивают уже 13 лет, отучивают. И там — крупный опасный Враг, а здесь — липкая мелкота, враженья, о них в полную силу и не станешь писать. Над биографией я утомился, а над «Телёнком» помолодел: разбудилось во мне ощущение такой недоконченности (да неначатости!) дел на родине, что из него и убеждение: вернусь! вернусь и буду доделывать!

Потом накинулся кончать «Апрель». Пока, в возможных пределах, довёл. Тем временем с Алей мы выпустили в печать по-русски два первых тома «Марта», кончили набор третьего тома, начали четвёртый. При наборе — Аля снова и снова возвращает меня что-то улучшать.

Ещё несколькими годами раньше казалось, что «Колесо» будет на Западе подкреплено, а значит защищено, по крайней мере французским и английским переводами. Но французы успели с «Августом», «Октябрём», а дальше — замедлились. А по-английски — безнадежно застряло у Виллетса, даже «Август» всё не кончен, всё переключаются сроки. (Виллетс так честно-чувствителен к качеству перевода, уже отдал издателю, но снова берёт на доделку — и сам над тем изнемогает, и здоровье его всё хуже.) А если нет «Колеса» на главных западных языках — оно становится удобной мишенью для всех как раз моих противников, из третьеземigrants и славистов: с важностью знания они могут плести на европейских языках что хотят, и некому их проверить и опровергнуть. Да вот в Штатах и началась бешеная атака на русский «Август» — так как же, не дождавшись «Августа» английского, выставлять под новую атаку и «Март»?

Составляли мы, как водится, «весы». За то, чтобы печатать: естественная жизнь книги. Да вот ещё: сохранность текста, у нас хранится две-три редакции, вдруг погибнут? Только напечатав пусть и жалкий эмигрантский полуторатысячный тираж и можно быть спокойным за сохранность. — А против: вот — упреждающие атаки. И потом: в СССР-то всё равно почти не идёт, стало мало и трудно просачиваться. Так — зачем печатать?

Всё же ждали мы, ждали виллетского «Августа». Не дождались, и в конце 1986 выпустили два тома «Марта» по-русски.

* Долго они трудились и собирали материалы. Издали мы книгу только в 1994: Дугас И. А., Черон Ф. Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж, «ИМКА-пресс», 1994. — Судьба 5 миллионов! (Примеч. 1998.)

Нечего и ждать, когда «Март» появится в переводах. А с «Августом» ещё то затруднение, что ведь он, одностомный, уже печатался 15 лет назад — и по издательским соображениям нельзя давать его снова, хоть и расширенный, сперва почему-то надо выпустить «Октябрь» — такое решение приняли издатели шведский, немецкий, итальянский.

А русские бы читали подряд, только дай! — не пускают. Мучительный путь у книги.

Осенью 1986 появился в Западной Германии полный «Октябрь». Язык доступен мне, значит, надо смотреть. Кой о каких недостатках перевода написал издателю Пиперу. А он стал присылать мне газетно-журнальные рецензии, да много, больше полусотни, — и просил дать интервью для германского телевидения. Я отказался: ведь я давно замолчал, не хочу снова выступать. Но стал читать и читать этот поток рецензий — и среди левых насмешек и брюзжания, и жалоб на объём книги (ах, не для вас и писалось так подробно!) встретил немало и понимания и поиска понять, верно применяя русскую предреволюционную историю к сегодняшней европейской. Ведь немцы — единственные из европейцев, хоть и с враждебной стороны, но разделяли ту нашу историю, в «Колесе» есть косвенно и о них, и они это чувствуют. (Хотя удивись, как вывели из «Октября Шестнадцатого» некоторые: что уже тогда, за год, Октябрьская революция 1917 года была неизбежна!.. А ещё — и Февральская была избежима тогда.)

И на каком-то десятке этих рецензий я склонился: а надо интервью — дать, помочь этим поискам. Если у книги моей такая уродливая судьба и неизвестно, сколько ещё лет она будет развиваться вне России, — надо поддержать её жизнь и в Европе, Европа нам никак не чужая. Не объяснять, конечно, «что я хотел выразить этой книгой» и «какая её главная мысль» (обычные глупые вопросы), — а может, удастся и серьёзный разговор, вполголоса. Только не телевидение — оно поверхностно. Пипер обрадовался моему согласию, но объяснил: газету как «Франкфуртер альгемайне» читают мало, а «Вельт» — все читатели и так за меня, а вот бы — журналу «Шпигель», миллионный тираж и простой читатель. От «Шпигеля» неприятные воспоминания, как мы сталкивались в 1974, но, что ж, всё лучше «Штерна». Однако поставил я Пиперу, видно, нелёгкое условие: чтоб интервьюер, пусть не из штата «Шпигеля», был бы сам на высоком литературном и историческом уровне. И ещё: только в русле моих книг, и ничего о политике. И ответил Пипер: приедет брать интервью сам главный редактор «Шпигеля» Рудольф Аугштайн. Условились на осень.

А весной 87-го, едва разгорелись передачи «Марта» по Би-би-си (сняли глушение), — прикатил заказ и от «Немецкой волны»: и они тоже хотят читать «Март», хоть немного. Я, конечно, согласился.

Всё же если книга весомая — то она пробивается сама.

Только «Голос Америки», затравленный за мой столыпинский цикл, молчал. Аля сострила: «Теперь „Март“ скорей напечатают в Москве, чем передадут по „Голосу“». И ошиблась: вот, предложил мне и «Голос» изготовить для радио плотный конспект «Марта», часов на 25.

А — не зря торопился я доделывать прежнее начатое. Осенью 1986 налетело на меня сразу несколько болезней. Повторялась стенокардия. Обнаружились камни в жёлчном пузыре, как будто нужна операция. А самое удивительное: вдруг — множественный (как вообще почти не бывает, знаю) рак кожи. Опять мне — рак! да не много ли с одного человека? ну что за невылазная судьба! Но попал, не сразу, к опытному доктору, он объяснил: тех, кто когда-то подвергался сильному рентгеновскому облучению или химическому воздействию, — примерно через 25-30 лет может настичь, именно на местах облучения, рак кожи. (У него здесь, в Вермонте и Нью-Хэмпшире, такие наблюдения: после войны фермерским мальчишкам поручали разбрасывать химические удобрения; тогда они делали это из вёдер, без перчаток, голыми руками — а через четверть века у многих проступил рак кожи.)

У меня от ташкентского лечения — как раз 30 лет. Расплата. Но 30 лет дарованной жизни — стоят того! за это — заплатить не обидно.

И от болезней сразу — изменилось во мне многое. Утерялся тот безграничный разгон немеряной силы, который владел мною все годы. С этими болезнями (а есть и высокое давление, и артрит, и ещё) можно и 20 лет прожить, а можно — и ни года. Надо спешить делать не то, что «хочу», а — на что ещё время осталось.

Приучаться смотреть на земные дела — полупосторонним, окропившим взглядом: уладятся и без меня. Смирение.

Помню с Ташкента, что рак кожи — чаще излечивается, но долго, со многими рентгеновскими сеансами, с безобразным опуханием поражённых мест. А в Америке сейчас оказалась чудесная техника: единократное вымораживание пятен, и через три недели их как не было. А метастазов они не дают. Слава Богу! Пока рак — отшибли.

Но к нашему угнетению заболела и два года кряду болела Аля. Тут наложились и сжигающая тревога о Фонде: осенью 1983 вышибло главный позвонок, ключевое звено в цепи доставки помощи от нас в Союз. Замену ему на месте, в обстановке страшной, могла найти разве что Ева — но меньше чем через год умерла Ева, в неудачной операции.

Але предстояло залатать, а может быть заново выстроить канатоходную цепочку — и для того неизбежны были личные, не почтовые встречи со «стартовыми» звеньями, а значит, поездки в Европу. Она уже и ездила так, осенью 1983, виделась с Евой в Швейцарии (вышло, что последний раз) и с Вильгельминой («Мишкой») Славуцкой в Вене, — и встречи те были явно засечены, Мишку обыскали в поезде, а по возврате заметно усилилась слежка за обеими. Аля изводилась, что она тому виной: не имея никакого гражданства, она должна была для любой поездки испрашивать визу, документы по несколько недель бродили по европейским консульствам, из которых осведомление могло быть гладко налажено, — и тогда все её передвижения, в точных датах, были заранее известны. Оттого для наших беззаветных волонтеров возрастал многократно и без того великий риск.

Единственный выход видела Аля — взять ей американское гражданство, на что мы уже 4 года как имели право, но всё не брали, — и тогда беспрепятственно-быстрое передвижение по Западу, без специальных паспортов и без виз. Однако любое наше внешнее шевеление вызывало на себя сноп прожекторов, что уж говорить о таком бы шаге, — и Але казалось немыслимым брать гражданство одной, без меня, выходила бы какая-то демонстрация. (Тут, в начале 1985, уже и явный разразился гром: прокатили на весь Союз антифондовый фильм.) Аля сгорала, твердила, что дело важнее позы, — и я не находился ей возражать.

Да и что, в самом деле, торчать как одинокая цапля на болоте?..

Запросили штатное вермонтское управление. Прислали нам анкеты со множеством мелких граф и вопросов. Вчитываться в них — мне и заботы нет, да ведь это вроде как заполняли мы для каждой визы, в двух-трёх экземплярах, тех я тоже не читал. Секретарю моему Ленарду ДиЛисио я поручил всё это заполнить, а если что нужно — спросить. Он и спросил какие-то биографические данные, Алины и мои, больше ничего, всё в порядке. Отослали. Что ещё там, в процедуре, придётся какую-то присягу поддержать поднятием руки — я знал, видел кадры, но значения не придавал, формальность, они и при каждом свидетельстве на Библии клянутся.

Прошли недели — вызвали нас с Алей в иммиграционную службу Вермонта. Там — неперемное собеседование, и с каждым отдельно. Надо знать ответы на какие-то простейшие конституционные вопросы, мы подзубрили. Но служащая спрашивает меня больше того, обо мне самом. По отвычке (годами не беседую по-английски) вслушиваюсь, чтобы понять, — что это? Повторите. — «Готовы ли вы с оружием в руках защищать Соединённые Штаты?» Вот уж — никак не готов! Да даже к самому вопросу не был готов. Отвечаю: «Но

мне ведь 66 лет». — «Но всё равно, в принципе». В чём же принцип? — у вас мальчишки призывного возраста — и те жгут призывные повестки, и ничего им, а меня, посвыше шестидесяти — и в службу? Выражаю недоумение. Тогда она говорит, что ведь я уже подтвердил и подписал это самое в анкете. Ка-а-ак? (ДиЛисио, ничтоже сумняшеся, заполнил — и мне не сказал.) Очень муторно стало... Остаётся промычать: «Ну, в принципе, не буквально...»

Поразительно же небрежно я прохлопал, — да вот так несерьёзно отнёсся к этому гражданству.

Воротились домой — теперь я эту анкету прочёл. А заодно же — и текст присяги, он, оказывается, тоже нам был прислан.

«...я абсолютно и полностью отрекаюсь от лояльности и верности любому иностранному князю, монарху... — (это у них ещё от XVIII века) — государству или суверенитету, которого я прежде был подданным или гражданином...»

Ну, от верности *какому* государству я отрекаюсь? Советскому? Советское гражданство у меня отобрали 11 лет назад. А *русского* — не существует на Земле.

А всё-таки — дерёт. Не по себе.

«...буду поддерживать и защищать Конституцию Соединённых Штатов от всех врагов иностранных и внутренних...»

Ну-ну. От *внутренних*-то ваших врагов, от прессы лево-бесноватой и прожжённых политиков я и пытался вас остерегать эти годы, да вы не чуяли.

«...что я буду носить оружие в интересах Соединённых Штатов...»

Вот оно. А воевать-то предстоит — против моей родной страны. И вы же не способны вести войну против коммунистов как таковых, — вы уже сейчас объявили её как против «русских».

«...и я принимаю это обязательство безо всякой мысленной оговорки или намерения увёртки...»

Вот она где заноза. А у меня конечно есть оговорка: против русских я не пойду.

Ну и что? А мало ли мы ввали на советских собраниях? А в Красной армии когда-то же присягал, не сливая себя со сталинской верхушкой? — и как с гуся вода?

Так-то так, а — дерёт. Клятва — глупому смешна, а умному страшна.

Очень я отяготился. В тупик и мрак врехался зачем-то сам. Самоубойно.

А уже точно известны и дата, и час, и в каком здании какого городка предстоит процедура.

Нет! Отказываюсь! Иду на закарачки. Не еду!

Аля, как закланная, с лицом отемнённым, едет туда (присутствием сына Ермолая, подработка, смягчая моё отсутствие) — а там уже толпа корреспондентов, и снимки, снимки её поднятой руки — и вопросы обо мне.

И понеслась по американским газетам смешанная весть: то ли Солженицыны оба приняли гражданство, то ли пока только жена, а он, вот, вскоре. Американская пресса, конечно, одобряла (ещё и с такой трактовкой: ну, вот теперь-то он ринется в политическую жизнь Америки!), начальник отдела из «Вашингтон пост» развязно предложил, что он, с целью репортажа, проведёт в нашем доме ближайший День Независимости. (А Наврозов не преминул отметить, что я принял гражданство, утращённый *его* статьями.)

А в Европе, и особенно во Франции (мы над этим прежде совсем не задумывались, не предполагали даже), были смущены этим эхом и огорчены: а вдруг и правда примет? «Солженицын — американский гражданин?.. Эта новость сжимает сердце... Неужели этот человек-гора последует реальному пути? Он хочет устроить будущее своих трёх сыновей... Он говорил, что Америка ещё не нация. Но тем не менее она может служить убежищем». (Тут же ещё так совпало, что двумя месяцами раньше во Франции возник слух, попал и в журналы, что, «из-за слабого внимания в Соединённых Штатах» ко мне (уж куда пристальней!), я намерен переехать во Францию. Мы и не обсуждали такого никогда. А взятие гражданства получилось как бы ответом на тот слух?)

И остаткам старой русской эмиграции это пришлось как оскорбление: они никогда и ни в какой худости не считали возможным принять иностранное гражданство.

Что делать, ошибся. Без стыда лица не износишь.

Но внутренне испытывал я освобождение, что не присягнул Америке. (Постепенно разбирались и американские перья: нет, он не стал! нет, он не торопится стать! и Наврозов тогда: он нанёс пощёчину Америке!)

Да ведь что за страна Америка — невразумлённая (хотя вроде бы столь просвещённо демократическая): через кучку своих профессиональных политиков она каждодневно беспечно себя предаёт, а вдруг минутами вспыхивает в гневе, но совершенно слепом, и крушит что где попадётся. Советы сбили корейский авиалайнер — в Нью-Хейвене *в отместку* разбили окна русского православного храма и изгадили опрыскиванием настенную роспись. — Захватили иранцы американских заложников, администрация Картера была бездействительна, — так в вермонтском местечке Питтсфилде вздорный фермер вооружился ружьём, народный мститель, пошёл утром в местную лавку и, в виде «мести за советскую агрессию», застрелил продавщицу Таню Зеленскую — за то, что она русская (дочь первоэмигрантов) и замужем за иранцем.

Шатко. Русская почва мне ещё долго может не открыться, и до смерти, а американскую — не могу ощутить своей. Без твёрдой земли под ногами, без зримых союзников. Между двумя Мировыми Силами, в перемолот.

Тоскливо.

* * *

Что именно с весны 1985, когда меня пережерновывали с двух сторон и положение моё казалось таким безвыходным, — что именно с апреля 1985 (так советская печать урочит сейчас начало изменений) в СССР что-то новее, — от нас не было видно никак. Разве что американский канал NBC, показывая московскую первомайскую демонстрацию, комментировал: «сегодня люди в СССР радуются». (Так им и все 60 лет мнилось, что «радуются».) Новым горбачёвским министром иностранных дел стал главный грузинский гебист Шеварднадзе. Всё с тем же оголтелым безумством готовили поворот северных рек — и, казалось, нет сил остановить большевиков и на этом последнем пределе России. Как раз тогда арестовали и осудили на 6+5 Льва Тимофеева, ещё одного отчаянного переходчика из правящей касты в гибнущий стан. Режим в лагерях сатанел, если это ещё возможно. На полгода кинули в одиночку Ирину Ратушинскую. Всё так же бессильны были наши попытки спасти Ходоровича. Аля выступала, и сговаривала на выступление видных западных журналистов, крупные христианские организации. Однако ничто не помогало. В 85-м Ходоровича, уже с туберкулёзом, кидали в ШИЗО, потом в бандитскую камеру. В апреле 1986 ему в заполярном Норильске врезали второй срок по «андроповской» статье (продление без нового суда), Аля полыхнула в ответ зло. Незадолго до того в Москве накрыли и В. Славущкую в момент передачи ей от нас 30 тысяч советских рублей для Фонда, грозил и ей арест, и её имя вместе с покойной Столяровой полоскала «Советская Россия». Деятельность Фонда в СССР пока вынужденно пресеклась, и Ходорович, — никто не осудил бы его! — вполне бы мог дать требуемое от него заверение, что «больше этим не будет заниматься», — но он, с одним лёгким, оставил себя погибать в Норильске. Той же весной — апокалиптический Чернобыль, воровское молчание вождей и пронзительный вид (подхваченный и американским телевидением) украинских танцев на Крещатике в первомайскую демонстрацию, в радиоактивном воздухе. Тут же вслед, на выпуске из заключения Юрия Орлова, — в страх ли всем или вправду, — ему показали в Лефортове следственное дело, открытое в целом против Русского Общественного Фонда.

Всё казалось безнадежно, как и всегда от ленинских времён. (Скорее — что-то сдвигалось в Китае: летом 1985 отменили обязательность марксизма в

вузах и объявили опрос населения с его мнением о местных руководителях. Дивно?!)

Вдруг к лету 1986, через полтора горбачёвских года, прикатил к нам слух, торжество: что северных рек — не будут поворачивать!! — то ли совсем отказались, то ли на время, не будут пока. В дополнение тут промелькнули и два съезда — писателей и кинематографистов, что-то со смелыми весьма речами, а где — и со сменой руководства. (Аля: «Сердце скачет! Нельзя не надеяться!») Но и знал же я невылазную загрязность семидесятилетней советской лжи, иногда наблюдал ей и свежие примеры, вот пришлось посмотреть кассету нового фильма «Трактир на Пятницкой» — самое бессовестное пенкоснимательство с ещё не раздавленных при НЭПе чёрточек старой жизни, а после пенок рот утра — да рыгнуть всё той же гнусной, беспросветной, беспощадной советской идеологией (сценарий Н. Леонова); даже издыхая — доказывать будут свою правоту. — Или новое достижение Никиты Михалкова «Раба любви» (сценарий Ф. Горенштейна): снять пеночки с памяти о Вере Холодной и ещё, и ещё раз огадить белогвардейцев как невиданных злодеев, красный детектив с благородными подпольщиками. Что же изменилось?

Утешался я только доходащими из СССР новыми работами В. Распутина, В. Астафьева, Г. Семёнова, Е. Носова: всё-таки не иссякла, всё-таки и в советской пустыне лилась струя подлинной — и никак, ни в чём не подхалимской русской литературы. Но достаточно ли её для общего возрождения сознания?

Вдруг, к концу лета же 1986, докатил из Союза совершенно необычайный документ: «самиздатская» сокращённая запись — встречи Горбачёва с тридцатью избранными, доверенными писателями! — да как же бы это могло «ускользнуть»?.. да кто б это осмелился?.. С а м велел пустить?.. Горбачёв реально призывал писателей к поддержке против каких-то внутренних врагов, знать нужны были ему для того силы. (И старые услужники А. Чаковский и Г. Марков — первые спешили *заверить* его.) И правильно он оценивал — длительность, ой длительность времени, нужного для серьёзных реформ. В том документе я ощутил — нелицемерность намерений Горбачёва (*но* — полностью в рамках ленинизма...). И — что он не готовит внешней войны. Посочувствовал я ему в первый раз. И как — могут его свалить, если не применит он рычагов посильней. Однако и сказал он: «Если бы мы стали заниматься *прошлым* — мы бы всю энергию убили».

Да? А без того и будущее не откроется. Коротки ж у него рычаги.

Так — не моему эшелону пришло время. Понимать — понимаю: таких этапов должно пройти ещё сколько? — пока будет возможен мой возврат. А сердце — выпрыгивает...

Через малое время — ещё один «кремлёвский самиздат»: в обращение пущено выступление Ельцина к московскому активу пропагандистов, ничего себе. И тоже — решительность, крутость, значимость.

Да что ж это дается?..

Конечно, ещё ничего существенного. Но мы все так не избалованы, что уже и это нам много.

Сильно взволновались.

С осени 1986 прокалывали наших бостонских друзей самые возбуждённые звонки из Москвы: поверьте, *что-то совсем новое! делается!*

Затаённая радость, ладонями удерживай как птенчика.

Живём и работаем как прежде, но, верно Аля говорит, — воздух *полон* тем, что делается *дома*. Новая форма жизни.

И вдруг в декабре — снятие ссылки с Сахарова. И возвращение его в Москву без препятствования западным корреспондентам снимать и спрашивать о чём угодно, сколько угодно! И он, молодчина, требует освобождения политзэков и ухода из Афганистана. Держит и дистанцию от Горбачёва.

Неожиданно? По понятиям Запада — почти революция! Расчёт Горбачёва очень верен: Западу видится доказательно: если Сахарова освобождают из ссылки — Советский Союз будет отныне с человеческим лицом!

Да, пять с половиной тяжёлых лет оттянул Сахаров в горьковской ссылке, особенно подорвался на голодовках. И вдруг ставят ему в квартиру телефон и звонит Горбачёв: «Ну, как, Андрей Дмитрич, не пора ли вернуться к работе?»

(Я ещё не уследил тогда, что Сахаров какому-то врачу в горьковской больнице действительно высказывал свои возражения против американского Космического Щита, и это пошло на магнитную плёнку и подано на Старую Площадь. В таком-то случае тем необходимее было властям вернуть Сахарова из ссылки, и не жалко подарить ему и прежнюю диссидентскую свободу. — И что скажешь тут? Рассуждая чисто государственно, ведь Сахаров был прав: по расчётам советского государства как смертельно было бы введение нейтронной бомбы — полный срыв всякой агрессии в Европу, едва остановили ту бомбу раскатом европейской общественности, — так смертелен был бы и рейгановский Космический Щит: тогда куда все наготовленные ракеты? — А спросить: да разве простила бы *мне* образованщина хоть *долю* вот такого бы *моего* возвращения в лояльное положение при коммунистической власти?)

Я был очень рад: и за Андрея Дмитриевича большое облегчение, и польза будет для всей общественной ситуации. В первые недели Сахаров создал чёткий контроль обещанного властями и начинавшегося тогда освобождения политических заключённых, — тоже хорошо, и лучшая раскочка для гласности.

Тем временем американские политические наблюдатели, которые чаще смотрят лишь по поверхности, и привыкли к сочетанию имён «Сахаров-Солженицын» — то раз Сахарова возвратили из ссылки, да вот и Любимов намерен вернуться, — теперь натурально ожидают: а Солженицыну уже были предложения? уже ведутся переговоры? Корреспонденты достали домашний телефон моего секретаря ДиЛисио, звонят ему, спрашивают.

Они (да и многие на Западе) не понимают: между Сахаровым и Солженицыным — разность эпох. Сахаров — нужен этому строю, и имеет великие заслуги перед ним, да и не отрицает его в целом. А я — режу их под самый ленинский корень, так что: или этот строй, или мои книги. (Кажется, одна только правая «Вашингтон таймс», вот в январе 87-го, проникла: вспомнила о нашем споре с ним вокруг «Письма вождям».)

А и в том «Письме», и постоянно, я предлагал именно *плавный* выход из тоталитаризма, — упаси Боже «прыжком».

И слава Богу, что пошло, кажется, постепенно, эволюционно, я счастлив таким развитием: не через революцию, не через общий развал, не будет второго Февраля, которого я так боялся.

Однако раз эволюция, то и перемены будут подмороженные, сдвигка будет медленная-медленная вдоль политического спектра. Ох, долг ещё путь, по крюкастой дальней дуге, а до нашего — и не видно вовсе. Но если я до возврата и не доживу, то хоть умру спокойно.

(Пока что главный призыв — чтобы трудящиеся подняли производительность труда, какая новая песенка!)

Но в конце января 1987 прекратили глушение Би-би-си (впрочем, и при Брежневe его как-то прекращали). В начале февраля освободили разом весь заклятый политический лагпункт под Пермью, 42 зэка. (Но дали каждому подписать, что они приняли помилование. Лев Тимофеев заявил о лживости «миловать» безвинных.) В феврале же освободили и многострадального доктора-психиатра Анатолия Корягина, сидевшего за разоблачение карательной психиатрической практики. (А генерал Григоренко не дожид, умер в этом же феврале в Нью-Йорке.)

В начавшемся петлистом освобождении заключённых нас больше всего волновала, конечно, судьба Сергея Ходоровича. Объявили ещё в конце января 1987, что его освободят, — но и весь февраль он просидел недвижимо в Норильске. Что делать? Ведь так и схоронят заживо в норильской студине. Аля искала заступы, замолвки от сенаторов, конгрессменов. В конце марта намечалась поездка в Москву Маргарет Тэтчер — я написал ей письмо с просьбой напомнить о Ходоровиче. Однако, к облегчению, успели остановить письмо

при передаче: 17 марта Ходоровича, наконец, освободили, с обязательством выехать за границу. Ну, хоть так. Но вот дивно: за два дня до того в «Советской России», постоянной ненавистнице нашего Русского Общественного Фонда, появилась новая злая статья, «Доноры мошенников», — и её тут же перепечатали для эмиграции в «Спутнике», мерзко-рекламном журнальчике с отжимкой советской прессы. (Сказать, что не согласованы руки режима?) Опять «ЦРУ», опять полоскались наши связные, Славуцкая и покойная Столярова, — и звучало это всё нам как: война продолжается и перемирия не будет, не ждите!

Но проступило первое, ещё само себе не верящее движение в культуре, опережающее всякое другое освобождение: возвращали из тьмы ахматовский «Реквием», Платонова, Набокова, Гумилёва, даже (весьма неожиданно) Мережковского с Гиппиус. (И посмертно — хотя и невыносимо лицемерно — восстановили в Союзе писателей Пастернака.)

Как не закружиться голове?..

Встрепенулась Россия? Неужели?

Да не голова закружилась, а — целый мир закружился.

Оттого что развитие в СССР пошло лишь малою сдвижкой политического спектра — тем более взволновалась и возбудилась Третья эмиграция: как раз эта-то, начальная, часть спектра и была их желанная — и уже многие примеривались и рьялись ехать с визитами, да они теперь — первые кандидаты.

В Москве будет выставка Шагала! ожидается «год Пастернака!» И куда подевалась та угрозно-пророченная власть «русской партии», которую перед нами трясли годами — что вот именно она сразу первая к власти ринется? Нет, именно «культурному кругу» открывалась возможность подблизиться к новой власти.

Но, по неизбежной среде эмигрантов разноголосице, раздавалось и всякое. Неврастенический Зиновьев вострубил: «Обращение к Третьей русской эмиграции» (именно только к Третьей, других соотечественников он не признаёт): «Мы восстали против нашего социального строя... наше массовое [?] *восстание* победило» (и восемь раз в «Обращении» слово «восстание», кто его видел?). Увы, «нас поддержало незначительное меньшинство» неблагодарного народа. Но именно диссиденты заставили советскую власть попятиться... «А теперь всякое сотрудничество с властью — предательство нашего восстания... донесём судьбу повстанцев до конца пути!»

В этой новой обстановке заметался Владимир Максимов (он и все эти годы нервничал, по своему главредаторскому посту). Незадолго перед тем он с друзьями создал громкозвучающий, но бессильный «Интернационал Сопротивления» — и конкурировал с НТС: чья эмигрантская организация непримиримее к коммунизму, и более прав имеет на дотации. А от наступившей горбачёвской Гласности — его Интернационал впадал как бы в тень лишности и невлиятельности? Максимов держался за позицию непримиримости, и в дни колебания Ю. П. Любимова давил на него — не возвращаться в СССР! (И повлиял, ко вреду Любимова: ему-то бы именно без промедления возвратиться.) — В феврале 1987 вдруг прислал нам отпечатанную готовую декларацию — «Заявление для прессы», и список лиц, кому надлежит под ней подписаться, мы с Алей поставлены были на 1-е и 2-е места. И в таком же виде, с готовыми формулировками, послано и остальным, создавая впечатление, что мы с Максимовым уже в каком-то предварительном сговоре и о тексте, и о подписях. Неприятный приём. И почему Максимов думает, что я нуждаюсь в этих его сильных выражениях, коллективных заявлениях, чтоб осудить тот хрупкий, неуверенный процесс в СССР, которому дай Бог конечного успеха? Я рассердился, хотел ему резко ответить. Аля, как и часто, удержала меня от раздражённого порыва. (Суток не прошло — Максимов телефонно проверял через Иловайскую в Париже: так подпишут они или нет? Опасливо: «Или что, чемоданы собирают?»)

Максимов — серьёзный, хороший писатель, никак не «самовыраженец». Я годами привык считать его прямодушным и непримиримо принципиальным человеком. Его убеждения, и внутри СССР, и потом за границей, уже страстно публично

изъявленные, мне всегда казались верными — и относительно большевиков, и относительно западных леваков и образованцев. Одно время коробила меня его брань по поводу Первой эмиграции и белых, потом он отказался от такой линии и, напротив, взялся воспевать Колчака. Очень дружественно и осмотрительно он вёл себя с Израилем, дважды ездил туда и произносил самые обещательные речи, в «Континенте» защищал Израиль даже тогда, когда вся мировая пресса обвиняла его за зверства, допущенные в Сабре-Шатиле, — а вместе с тем никому не спускал переклона к русофобии — ни авторам памятника в Израиле, ни Симону Маркишу. Достаточно рано отшатнулся от шутовских приёмов Синяевского, выдержал столкновения с ним и с его левыми сторонниками в Германии, в начале 1979 был сильно атакован во «Франкфуртер альгемайне», и в этих столкновениях всегда ждал, чтоб я тоже вступил в бой, но я не в силах был каждый раз по внешнему зову отрываться от работы. А он в «Континенте» защищал меня долго, очень хотел меня печатать (тем и самому укрепиться в глазах Шпрингера), для того раздобыл и плёнку моей пропавшей пресс-конференции в Мадриде. Усиленно и благорасположенно отмечал моё 60-летие. Вскоре потом взревновал и обиделся на меня за мою поддержку «деревенщиков», он их считает лживыми за то, что не встают против власти открыто, и вот — имеют стотысячные тиражи?

Но от ведения ли гонорарного журнала, куда все устремляются, от этого крестла власти, — характер Максимова с годами, видимо, надмился, ожесточел. Всё резче и язвительней были его «колонки редактора», всё круче гневные письма и окрики. Будучи вынужден вести гибкую *издательскую политику*, нейтрализовать тех, кто мог бы стать новыми противниками, и укреплять связи с теми, кто поддерживает (например, Седых с «Новым русским словом»), — он далеко ушёл от позиции несвязанного литератора и погрузился в дипломатию и расчёты.

В 1985 году одним из таких его расчётов, видимо, было: публично отодвинуться от меня, всё равно не доставившего ему прямой поддержки, а ставшего опасным союзником из-за той травли в антисемитизме, какой меня подвергли в Штатах. И — отмежевался, в частности, в интервью профессору-слависту Джону Глэду: в том смысле, что я — чужд каким-либо интересам, кроме русских. Я узнал об интервью только в следующем году, оно было напечатано в эмигрантском журнале рядом с интервью четы Синяевских и, неожиданно, оказалось злее относительно меня, чем даже у Синяевских. И — уж он-то мог бы по «Колесу» свериться, не повторять обо мне штампованную басню, будто я виню в российской революции «нацменов». Забудь ты моё добро, да не делай мне худа. В возражение я в частном письме напомнил Максимову, что именно я и предложил «Континенту», ещё при его создании, не замыкаться на советских бедах, а «стать рупором несчастной страдающей Восточной Европы» (1974), а позже (1979) побуждал и расширить понятие «континента»: на тех же правах, что и Восточную Европу, включить и Восточную Азию, протянуть и им постоянную сочувственную руку. Какие ж «только русские» интересы? Теперь я предложил, чтобы Максимов сам публично исправил своё высказывание как ошибочное. Но он — этого, увы, не сделал. Не стал и я оспаривать печатно: не он первый меня оболгал, и не зловеднее всех. Да и мог, мог он обижаться, что я (ощущая «Континент», как он развился, не близким себе) годами не укреплял с ним коллективного фронта.

Нет, не от диссидентского *восстания*, и не от случайности, и не от «измены» Горбачёва теснится большевицкий режим, если такое движение в самом деле началось. Это — внутренне обоснованный крах коммунизма, который неизбежно должен был наступить: умереть от ранней старческой слабости, ибо в его земной «религии» не хватило долготы духа: кончились готовые жертвы для «светлого будущего», и на достигнутом освинели и вожди, и прорабы.

О, как угадать: что там происходит? Как это почувствовать, исчуждав по удалению? Как это осмыслить — сквозь биенье сердца?

Если подходить с анализом — логически, трезво по полочкам, как и делают некоторые, — то, конечно, ничего существенного Горбачёв за два года не сдвинул — ни в экономике (что — решает), ни в социальной расстановке, ни

в общей низости быта. (Преуспел только культ его на Западе.) — И всё это уже бы признать за поражение или сознательный обман, потому что два года — срок немалый, да ещё при таких, по видимости, энергичных усилиях сверху. И, конечно же, ничто в стране не может измениться качественно без отказа от проклятой коммунистической доктрины. И будет — отчаянное сопротивление номенклатуры, и будут ещё и попятный ход, и петли возврата. (И какая опасность неверности новых шагов, какое зренье провидческое надо иметь.)

Но есть восприятие и синтетическое, вот, всё как оно есть в целом, не анализируя, — воздух! ветерок-теплячок! Тому, кто на себе перенёс невылазные десятилетия советской жизни, не может не казаться дивным, чуждым — одно только несомненное оживление общественного настроения, вот это тепленье и всплески надежд, эта первая возможность говорить и писать гораздо шире, чем было прежде обрублено, и с захватным интересом читать замятые газеты (в моё время и в руки не брали их, только подписывались по принудительной развёрстке), и делать даже самостоятельные общественные шаги, выступать и даже объединяться без направляющей руки парткома! Так и пишут [М. М. Рошин]: *нетерпение* овладело всеми — больше! дальше! — и *страх*, что вдруг всё рухнет назад в единый миг, — «ведь до сих пор ничего не сделано, одни слова!», «неужели наш народ не заслужил лучшего?!», «мы уже ошиблись однажды, ограничившись полумерами» (при раннем Хрущёве). А в провинции — ещё ведь и этого воздуха нет. А нравы — всё продолжают гибнуть, а земля — всё так же без хозяина, а промышленность всё так же работает вхолостую, «на вал», и в магазинах всё так же ничего. — Навстречу вспыхнувшей жажде к нашей затоптанной скрытой истории — многомиллионно хлынули коммунистические поделки — М. Шатров, А. Рыбаков: все беды потекли не от лучезарного Ленина, о нет, не от революции, не от уничтожения крестьянства, — но от какого-то злокозненного перелома при убийстве Кирова. Поскорей, поскорей закрепить в людях эту ложь! Идеолог Лигачёв одёргивает: «Против фальсификации нашего славного прошлого!» И необычные публикации умерших, по полвека запретных писателей — и тут же окрик: «запашок литературного некрофильства», не печатать! это «останавливает современный литературный процесс!» И узнаём, что новая Третьяковская галерея построена дурно, не годится, во МХАТе — раскол на две трупы, а классическая музыка убыточна. Ещё бы! Ведь Железный Занавес не давал перейти с Запада ничему хорошему, а рок-н-ролл и западные дешёвые моды — под себя пропускал, и вот уже советское телевидение заискивает перед тем же кошмаром, ускорая сколачивание каких-то диких орав беспамятной молодёжи, будущих уничтожителей.

Нам, в эмиграции, чтение советских газет и журналов — о, не сплошь, о, только пяти процентов среди прежней казённой серости, та лавина меня минует, мне достаются лишь лучшие вырезки, — создаёт ощущение выхода на простор. Живая жизнь — всё равно там, а не здесь! И — блекнет растерянно эмигрантская печать, и даже «Посев», такой интересный в недавние годы.

Когда бы я читал «Литгазету», да ещё — отчёт о пленуме Союза писателей? — а тут с напряжением проглатываю 11 полных газетных страниц, как не беречься: живые люди (а многих и знаю) живое говорят, писатели оказались весьма подвижной средой. «Почему десятилетиями мы были незрячими?», «рабская привычка страха», «мы устали от потери собственного достоинства»; осмеливаются подвергнуть сомнению и переизбыточные вооружения, и неизбывную классовую борьбу, «идеология остаётся туга на ухо». (Да, резкие грани ещё стоят: о Ком нельзя, и о Чём нельзя.)

Однако. Как это опасно напоминает наш заклятый Февраль: все и всё удавились в говорение, в круговорот говорения, — а не проглядывается, чтобы кто-то делал полезное что.

Первая пороша — не санный путь.

Да, жажжется, чтоб это уже и было начало великого поворота. А в том, что теперь пробиванием и проталкиванием займутся на родине сами, — для меня какое освобождение. Тот прошлый для меня Главный Фронт, на котором я столько бился, — теперь это их всех фронт. Придёт ли и тот поворот дороги, когда на месте понадобится именно и именно я?

Но вот стало касаться и прямо меня. В январе 1987 в одном, другом *левом* письме из Москвы доходили до нас слухи, что на закрытых лекциях обещают печатать «Раковый корпус». Немаловажный признак; во всяком случае, значит, *в сферах* где-то что-то обсуждают. А 3 марта (того самого марта, когда «Советская Россия» продолжала травить наш Фонд) вдруг такая громкая новость достигает нас: нынешний редактор «Нового мира» С. П. Залыгин будто сказал, что намерен печатать «Раковый корпус»! Но сказал почему-то греческому корреспонденту, притом для датской газеты, и в Копенгагене напечатано уже с неделю, да никто не доведася. Это смутное сочетание отчасти навело на мысль об обычных приёмах ГБ. Пробный шар?

Нет, я не подумал так. Я сразу угадал в этом — верность. Так и будет! Не сейчас сразу, не именно от этого заявления. Но подходят сроки. Как бы извилисто и долго ни пробивалась общественная жизнь в Союзе — но далеко впереди, на обязательной магистральной дороге, я лежу камнем.

А если, пока, и пробный шар — то «попробовали» они на свою голову.

Уже вроде бы заплевали в Америке, затёрли этого Солженицына. Но из глухой датской газеты вырвалась весточка — среди первых новостей во все мировые: «Преодоление советского прошлого?» Какие-то агентства прорвались и по нашему вермонтскому телефону, но его мало кто знает, а — к тем, кого можно спросить и кто обязан отвечать: к американскому издателю Страусу, в «Голос Америки», к нашему вермонтскому конгрессмену, а в Париже — к Дюрану, к Струве. И они — звонят нам: какая реакция? — Но что ж реагировать на слух? ответили с Алей так: «К нам никто не обращался ни официально, ни неофициально».

Нет, я не поверил, что уже дочаялись мы до заветной поры, нет, это пока ошибка. А в сердце радостные толчки: и правда, «Раковый корпус» как раз сейчас подходит к нынешнему советскому времени: первые-первые шевеления общественных надежд, похоже на 1955. И как бы это вовремя для меня! Так грузно завяз я на Западе — и вдруг бы стали освобождаться руки и движения! — совсем другой масштаб ощущаешь себе самому. Вот она, форма возврата: сперва «Раковый», тогда восстановят и рассказы, там, смотришь, — напечатать что-нибудь в советских журналах, — и одной ногой уже там! Вспоминаем: ещё двумя годами раньше, в апреле 1985, в Нью-Йорке возник слух, что Горбачёв зовёт меня вернуться, — и хотя мы на полушку не поверили (и слух не подтвердился), а — омахнуло радостью и тогда.

Тёплый ветерок с родины!..

Откуда ж ему и прийти?

Сенсация-то сенсацией, но, ею хоть поперхнись, мало кто в Штатах ей обрадовался. Для левых — совсем ни к чему, чтоб я снова что-то значил, да ещё в СССР. (Особо Пайпс в «Вашингтон пост», 5 марта 1987: конечно, *они*, на горбачёвской верхушке, находят приемлемой линию Солженицына, потому что он не выступает за права человека, демократию и плюрализм. Эллендея Проффер, там же: нечему удивляться, многие из тех, кто сейчас пришли к власти, — русские националисты.) Но и американским правым это не подходит, они привыкли, что я антикоммунист, — и как же я вдруг «поддержу Горбачёва»?

А досужим врялям делать нечего, высказывают: «у Солженицына был уже не один контакт с русским правительством» Ну, на всё не нагавкаешься опровергать.

Несколько частных американцев написали мне в те дни: не верьте *им!* не уезжайте туда!

Новость по-русски передавали в Союз все радиостанции, там это тоже разойдётся. А здесь любопытна реакция новой эмиграции. Эткинд, Любарский, Файбусович: ничего удивительного, Солженицын по своей идеологии наиболее близок к советской власти. — Михайло Михайлов, в страхе перед грядущим: значит, наступит православная монархия. — У некоторых писателей — негодование. — Максимов воспринял как личное горе. — «Либерасьон» опрашивала эмигрантов, кого считала покрупней. А кто ж у нас «покрупней»? Зиновьев: «Советы достигают алиби небольшой ценой. Безвредные книги... „Доктор Живаго“, „Раковый корпус“ дают им возможность лишить читателя произведений действительно интересных, способных волновать его. Власти воскрешают мертвецов, чтобы надёжнее схоронить живых. Моя точка зрения проста: когда *мои* книги будут напечатаны — тогда я приму всерьёз намерения советских властей». — А ещё ж — бравый Лимонов: «Я этого совсем не ждал. Я не люблю Солженицына, я считаю его посредственным писателем, но публикация его книг в СССР — это может быть вторая революция... второе крупное событие со смерти Сталина». — И конечно — Синявский. Но до чего изворотлив! «Замечательно. Издание „Ракового корпуса“ реабилитирует рикошетом и *всю эмиграцию*». (И его, Синявского! возьмите же и меня!) «*Вся здоровая часть эмиграции* встречает этот поворот с радостью». Как? Если напечатать книгу этого расиста, фашиста, шовиниста, теократа, тирана-автократа — так вот это и будет победа нашей плюралистической эмиграции?.. Синявский-то про себя — знает все масштабы, и понимает серьёзность такого бы поворота. (В эти самые дни я проиграл суд Флегону, и Марья Синявская мгновенно предложила моему адвокату своё свидетельство, что Флегон — агент КГБ. Они теперь готовы стать нашими союзниками, изобразить, что и вовсе мне не личные враги, они-де только из высокого принципа критиковали мои порочные взгляды... Да не нужно нам таких союзников.)

Размах сенсации оказался столь неожидан, что официальному говоруну советского МИД (генералу Герасимову), потом и Союзу писателей, уже через день пришлось опровергать: да нет, ни одно произведение Солженицына не рассматривается к печати. (Окуджава, в те дни в Париже и как раз перед приездом туда Залыгина, объяснял, что всё это, мол, *акция*, — Залыгину приписали, чего он не говорил. — А я думаю: в мыслях у Залыгина это есть, и как-нибудь просветилось.)

Месяцами я не появляюсь на публике, дома сижу-работаю, а тут, так совпало, именно 6 марта, в день, когда мы узнали об отбое, Игнат играл сольный концерт в Честере, меньше часа езды, — поехали всей семьёй. Концерт был яркий, зал полон, овация, — сплошная бы радость, но на выходе нас схватили и стали-таки пытаться корреспонденты. Аля отдувалась: очень бы хорошо, но — нет, не подтверждается, не печатают пока «Раковый корпус»; на следующее утро, конечно, слова её в местных газетах перемежались с отчётом о концерте и снимками Игната за роялем.

Прошёл отбой и по мировой печати. Та же «Вашингтон пост» (6.3.87, «Москва не публикует Солженицына») забыла, что писала вчера: что я для *них* безвреден, что я — *их*, советский, — оказывается, на Солженицыне клеймо «крайнего антисоветизма», и, даже без перспективы публикации его книг, событие уже в том, что Залыгин упомянул Солженицына благоприятно. — «Уолл-стрит джорнэл» (6.3.87, «Сибирская радуга») написала тепло: «Будь это правдой, это стало бы самым радикальным примером за всё время горбачёвской „гласности“... „Официальные лица“ быстро опровергли датское сообщение. Но на короткий момент это была волшебная фантазия, будто радуга взошла над сибирским Гулагом посреди зимы». — А в Париже «Ле Матен» выскочила и так: «В русской эмиграции были смущены. На Западе некоторые эмигранты выросли в признании, а Солженицын, наоборот, упал. Опровержение

по крайней мере принесло спокойствие... Если бы книги Солженицына начали печататься в СССР — это ниспровергло бы много понятий».

Но *понятия* пока остались на месте... Да ведь ЦК — в любой момент «перестройки» может опомниться и начать пятиться.

Третья эмиграция и правда была такими сообщениями взроена, — Солженицын исподтишка готовится к прыжку на родину! (Странно, что не видят: нынешняя советская обстановка куда ближе им, чем мне.)

Однако раскачка — и сама собою, снизу, — может стать необратимой?

А ещё ж, как мы предсказывали в «Из-под глыб»: при малейшем ослаблении государственных гаек — загорятся национальные розни. И — куда они поведут?

И в том числе: чувства русские? Но они, столь истоптанные, можно было предсказать: когда начнут возрождаться — то в форме искажённой, болезненной.

Так и произошло.

Но в масштабах — каких-то непредвиденных, гигантских? Во мгновение поднялась тревожнейшая кампания *всемирной* печати: в СССР набухло и всем угрожает грандиозное общество «Память — шовинистическое, фашистское и антисемитское. И угроза настолько мировая, что вопрос о ней обсуждается на заседании европейского парламента!

И тут же быстрые перья на Западе (или в Москве?) сочинили, запричитали, понесли: «Вот-вот! это союзники Солженицына! Он их и возглавит!»

А прогремел спор Астафьева-Эйдельмана — и те же перья, ушки на макушке: а *кто* хвалил Астафьева (в 1973, перечисляя по алфавиту четырнадцать советских писателей)? — Солженицын! *вот* его наклонности! Вот с кем он заодно! («Страна и мир», 1986, № 12). — «А что было солженицынское „жить не по лжи“?» — да оно «адекватно нынешним партийным лозунгам Горбачёва!», всего лишь.

И я представляю сейчас в Москве эту накалённую, раздирательную *национальную партийность* — не подготовленную разумом и равновесием с обеих сторон.

Тем временем пропаганда моих лжецких противников, как лёгкая пена, достигла России раньше моих книг, и уж разумеется — раньше «Колеса», и оттуда меня спрашивают встревоженно: так автор, значит, считает, что революция была лишь внешняя зараза? цепь случайностей? «горстка штатских инородцев против многомиллионного вооружённого народа? наша история делалась чужаками, монстрами?»

Поди их разубеждай, когда книги не идут. Ещё когда «Колесо» докатится до места?

Не окончательно полагаясь на художественную удачу своей пасквильной последней книги, кинулся в турне и Войнович: вот (в Вашингтоне) его очень беспокоит, что Солженицын не выступает с осуждением антисемитского движения в СССР. — Что я вообще четыре года не выступаю ни на какую тему — это неважно; что писатель вообще может не выступать — это неважно; а вот: почему не выступает против антисемитов? *Значит...* — и замешать его в ту кучу покрутей и поскорей. (Не забывает подшпиливать и Наврозов: почему так долго не выступает против советской власти? *Значит...*) Туда же прыгнуло и нетерпеливое «Новое русское слово», от имени возбуждённой Третьей эмиграции: «Почему вы молчите, мастер?» Ну как же: вот угроза «деревенщиков», вот «Память», вот «люберы» — а почему вы надменно молчите?

Как им всем годами жаждалось, чтобы я заткнулся. И вот — я заткнулся, — но теперь им невыносимо моё молчание.

Между тем в СССР моё имя эти месяцы прополаскивалось. В слухах — что я уже подал в советское посольство заявление на возврат. Но и публично. Александр Подрабинек внезапно написал (5 марта, в день советского опровержения о «Раковом корпусе», но просто совпало) открытое письмо правительству, что теперь, при наступлении Гласности, было бы нестерпимой фальшью замалчивать и дальше Солженицына, который и требовал честной и полной

гласности ещё 18 лет назад, — и предлагает он отменить указ о лишении меня гражданства, дать возможность вернуться на родину; и издавать массовыми тиражами. Это письмо он сделал открытым спустя месяц. А ещё от того через месяц — к нему, недавнему ссыльному, в Киржаче пришёл вдруг секретарь райкома партии по агитации и официально ответил, что «дело о Солженицыне рассматривается в ЦК».

Такой ответ ни к чему их не обязывал (хотя, наверно, какое-то обсуждение и было у них).

Я же, хотя и понимал всю необязательность и уловку этого приёма — а сердце забилось. Всё же — тает, тает стена, и изгнание моё идёт к концу! Да ведь по моему возрасту — уже надежда из последних.

И сигналы из Москвы двоились. В марте же новый редактор либерального «Огонька» В. Коротич (уже густо клеветавший на меня по «Архипелагу») заявил, что я — не писатель, а политический оппонент и глупец. — А 16 мая разразилась и «Правда» весьма странной статьёй. То есть она была вполне нормальная: оправдание Шолохова, почему за 35 лет, от конца войны и до смерти, он так и не мог кончить «Они сражались за родину», — а единственная причина оказывалась та, что после 30 лет работы его подрезала изданная в Париже книга Д* «Стремя Тихого Дона», подвергавшая сомнению авторство Шолохова, — так вот, предисловие написал Солженицын, — а реакция Шолохова: «что этому чуду надо?»

Поразительно звучало. После того, что я уже заклеимён и изменником родины, и литературным власовцем, и врагом народа, и агентом ЦРУ, — всего лишь чуда к?.. Уже кто-то и в «Правде» сделал цензуру — и не давал меня ударить в полную силу?

Ещё когда, когда они внутри себя-то разберутся: как же им со мной быть.

Не зовут. А со стороны — не подгонишь. Значит — мне тем более молчать. Теперь, когда к счастью освобождён Ходорович, — теперь и Але не надо делать публичных заявлений, какое облегчение. Молчать пока. Но дай Бог жизни вымолчать до верного срока.

Ибо: что я могу по совести сказать о горбачёвской перестройке?

Что *что-то* началось — слава, слава Богу. Так можно — хвалить?

Но все новизны пошли отначала нараскоряку и *не так*. Так надо — бранить?

И получается: ни хвалить, ни бранить.

А тогда остаётся — молчать.

Сейчас очень тронула милая Ирина Ратушинская: прислала полное понимание — и моего молчания, и моей неподвижности, и моих невстреч.

Но много ли таких, сердечно понявших? А когда обо мне домыслы плодятся — и все, все в разные стороны? А советская показуха, что «Солженицыным занимаются в ЦК» (ко мне же оттуда ни звука), — ведь будоражит; и эти пронзающие слухи, что я «уже подал заявление в советское посольство», — о самом себе в такой момент не странно ли смолчать?

Да всё равно не удаётся глухо молчать. Тянется: 40 лет русской секции «Голоса Америки», высказитесь! И как им отказать? — они же за моего Столыпина пострадали. Аля находчиво предложила мою давнишнюю цитату о западном радиовещании. И тут же сразу — 45 лет всего «Голоса», и Рейган в приветствии цитирует меня: «Мощная струя невоенной силы эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание... Да, наговорено много, наследство моё немалое.

А тут совпало чтение по неглушиму Би-би-си — двух томов «Марта Семнадцатого». (И доходят вести, что его в Союзе слушают.) Конечно, отрывки нарезаны без меня, Владимиром Чугуновым, но с пониманием. Я слушал и радовался. И предложили они мне дать заключение к серии — прямо своим голосом, да в Россию! — Ну как не согласиться! Сговорились на интервью. И вот, в конце июня, приехал Чугунов брать его.

Этот исключительный случай обратиться — не через заглушки, полным голосом — к соотечественникам, и — сейчас, в такие бурные смутные месяцы, когда множатся противоречивые слухи, а власти — застыли, обо мне воды в рот набрали, — как не использовать? Обратиться прямо, прямо к слушателям, к читателям.

И что же сказать?

Всё ж опоминаемся: поманили «Раковым корпусом»? Но ведь он едва-едва не напечатан был — в 1967. Так — всего-то — за двадцать лет — на столько продвинулись? (Да и на столько ещё не продвинулись...) А как же — «Архипелаг»? Меня и выслали за него. А всё «Красное Колесо»? Как же их предать? Да прежде всего — назвать их, вот сейчас, по эфиру! И пусть задача ломит голову властей, а не мою...

И заключил интервью: вернусь — вслед за своими книгами, не в обгон их*.

Обстановка на родине непредсказуемая, может быть, она не примет меня ещё долго. И мне — по силам, по работе и по возрасту — сколько ж ещё лет перекоренеть в изгнании?

А ребятам-то нашим? — не на месте топтаться. Вот старшим двоим подкатила пора ехать учиться дальше. Куда? Родина нас пока не зовет.

Ермолай вот сейчас, в июне 1987, среднюю школу свою, двенадцатилетку, оканчивает, на два года раньше сверстников. И на эти два сэкономленных до университета года решили мы послать его в Англию, в Итон. У него по-прежнему страсть к новейшей истории, к политике. Последние годы занимался я с Ермошей русской историей подробно — с конца XIX и до революции, при обильном его чтении. А ещё лето нынешнее до колледжа успеет он поучиться китайскому языку интенсивно — в соседнем Мидлбери, летней языковой школе (годовой курс за 9 недель).

Игнату — 14, но и он этой осенью уезжает в Лондон. Последние годы занимался с ним ассистент Сёркина, уругвайский пианист Луис Баже, а три лета подряд провёл Игнат в музыкальном лагере, увлечённо окунаясь там в камерные ансамбли. От своего дебюта с оркестром в 11 лет (Второй Бетховенский) он уже немало играл публично, — теперь Ростропович советует ехать в Лондон к Марии Курчо, известной преподавательнице, ученице Шнабеля в прошлом; одновременно и школу кончать там. Странновато отпускать его за океан одного, ещё совсем мальчик. Хотя он вырослел не по годам, и вообще быстро развивается, с широким кругозором, жадно и вбирчиво читает на трёх языках.

И нам успевали помогать оба.

Вот, вслед за Митей уедут ещё двое, с нами останется младший Стёпа, — надолго ли?

Здесь в Вермонте — меняется наша жизнь, а оттуда — тёплый ветерок не обманул ли?

Допустит ли Бог вернуться на родину? допустит ли послужить? И — в момент ли нового её крушения или великого устроения?

Уже дважды послано было мне совершить в моей стране — невозможное, непредсказуемое: напечатать лагерную повесть под коммунистической цензурой и издать «Архипелаг», находясь в пасти Дракона. И при напечатании «Денисовича» и при высылке на Запад испытал я два подъёмных взрыва, когда немеряные силы подхватывают тебя на высоту неожиданную. (И оба раза наделал ошибок.) Если я дважды пробивал собой бетонную стену — отчего и в

* «Публицистика», т. 3, стр. 273 — 284.

третий раз на меня не ляжет нечто схожее? (И как не наделать ошибок тогда?) Грянь боепризывная труба — ещё слух мой свеж, и ещё остались силы. У старого коня, да не по-старому ходá.

Да даже только для живого присутствия при будущих событиях, даже не участвуя в них прямо? и само присутствие могло бы стать видом действия? и помочь донести накопленное миропонимание до следующих поколений. Может быть и не риском-напором, как раньше, а выполнить задачу одним продлением жизни: само долголетие могло бы стать ключом к выполнению?

А уже не раз замечаю, что длительность жизни человека сильно зависит от сохранённости его жизненной задачи: если человек очень нужен в своей задаче, то и живёт. И пословица так: умирает не старый, а поспелый.

От самого «Ивана Денисовича» я уже сколько раз послужил мечом разъединяющим. И ожесточение схваток последней дюжины лет всё время *разделяло* меня со множеством сил и западных, и происхождения отечественного — и то всё было неизбежно. А в душе желание: не разделяться, не разделять, а — *слить* всех, кого доступно, послужить для России объединяющим обручем.

Это ведь — и есть подлинная задача.

Так в жизненном пути поднимаешься с плоскогорья на плоскогорье и каждый раз хочется назвать: вот это и наступили вершинные годы мои. Но идёшь дальше — оказывается: и те ещё были не вершинные.

Или — и не ждать их уже.

«Путь мой уясни предо мной...»

Вермонт

Июнь-июль 1987

(*Публикация глав будет продолжена.*)

